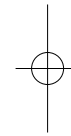
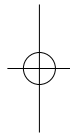


екатерина келлер

уроки молчания



ЕКАТЕРИНА КЕЛЛЕР

УРОКИ МОЛЧАНИЯ

поэтическая серия **объединенного гуманитарного издательства** и клуба «проент о.г.и.»

О-Г-И

москва 2005

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
КЗЗ

Координатор проекта Олег Шатыбелко

«Сопромат» — серия книг новейшей русской поэзии. Хотя общий вектор поэтики авторов серии (или, если угодно, преемственность) достаточно точно и совсем не случайно определен выбором авторов предисловий, было бы неправильно пытаться объединить их какой-то единой концепцией. Серия — скорее констатация поэтического единства пространства и времени для авторов, сначала как литературно-виртуального сообщества «Полутона» (www.polutona.ru), а потом и его вполне «реального» воплощения в качестве Калининградского поэтического фестиваля *SLOWWWO 2003–2004 гг.* Почему «Сопромат»? У каждого автора серии есть свое, точное, однозначное толкование названия серии. Свой, так сказать, контекст. А вот общего, извините, нет.

Келлер Е. И.

КЗЗ Уроки молчания / Екатерина Келлер. — М.: ОГИ, 2005. — 112 с. — (Проект ОГИ / Сопромат).

ISBN 5-94282-314-6

Родилась в 1977 году в Московской области, с 2000 г. живет в Германии. Окончила историко-филологический факультет РГГУ, университет города Аугсбург по специальности «Сравнительное литературоведение».

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 5-94282-314-6

© Е. И. Келлер, 2005
© А. С. Дитцель, предисловие, 2005
© Клуб «Проект ОГИ», серия, 2000
© ОГИ, 2005

УРОКИ МОЛЧАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ КЕЛЛЕР

«В оный день, когда над миром новым...». Основные темы этих стихов — речь, голос, слово, имя. Если что-то и меняет свое состояние в космосе ее сущностей и предметов, то только от звука голоса, от имени в бегах. В хоре сложно различить составляющие его голоса.

Голос мой ранен молчанием...

Екатерина снова и снова возвращается к этой теме. Если от человека остается часть речи, то что в итоге остается от речи, когда смолкает автомобильное радио, наступает «потом»? Остается пепел, глиняная табличка, граффити. Имени возвращается изначальная материальная косность.

*Господи или тот, кто впервые дал мне имя,
прозвучавшее смутно, нечетко, издалека...*

Екатерина пробует запечатлеть, как слово обретает зримые контуры, вес, бого- или человекоподобие. Мне нравится находить в этих текстах образы, связанные с невнятной речью (акцентом?), произношением, проговариванием: «подобие звука губами мять, отвечать от шепота, голосовым отростком вскармливая одиночество».

Итак, все зримые и незримые вещи в этой вселенной имеют право только на акустическое существование. Даже воздух или эфир, в океане которого мы плаваем, как доисторические рыбы, — *палевый плотный воздух речи, стихов, утрат*. Иногда он сгущается в облики и облака, которые существуют ровно столько мгновений, сколько длится породивший их звук или нота.

*Только голос волшебной дудочкой сладко, больно
вызволяет из плена плотно зажатых губ
нотку, ниточку памяти, жертвующей собою,
дочерна дотлевающей лилией на снегу.*

Голос способен оживлять. Его интонации, как и *хрип, кашель, молчанье, выдох*, определяют форму вызванного к жизни. Хор голосов подобен синклиту ангелов, со-творивших Господу в оный день. Когда они стихают, мир покидают сущности и, чтобы спасти хоть что-то, нужно говорить вслух, кричать, петь — только не допускать тишины, необитаемой пустоты.

Именно знание того, какой разрушительной силой обладает слово, ранит голос молчанием. Это есть евангельское «смятение от языков», предреченное Иоилем.

Я часто ловил себя на мысли о том, что при чтении стихов Кати Келлер не обращаю внимания, на каком языке они написаны. Они принадлежат сразу всем поэтическим континентам: греко-латинскому, германскому, англо-саксонскому, французскому, русскому... Екатерина живет в Аугсбурге, географическом центре Европы, исторически и географически равноудаленном от Овидия, Гёте, Эмили Дикинсон, Бродского. Мне видится в этом какая-то предопределенность. В провинциальной Европе острее ощущается древность культуры, груз написанного, сколько было произнесено или растрчено слов, вздохов, музыки. Еще и поэтому стоит учиться молчанию. «Сказать можно», лишь если *очень нужно сказать*. А этот выбор не всегда дается легко:

*Как же теперь понять, говорить мне или молчать,
чем-то питать слова или расправить голос?*

Помню, как неохотно и скупо слетали с губ слова, когда мы неторопливо бродили по вечернему городу, шумному, готовящемуся встречать Рождество.

*Той же вьюгой, слепящей память, слепившей дом нам
под развернутым колким небом, ведомы мы
не к обугленным теплым срубам, так к дымным
домнам
в самом центре чужого слова, чужой зимы.*

За соседним столиком в «Макдональдсе» шумели турки. Совсем не хотелось говорить о стихах — только о простых

вещах: работа, дом, родители... Боюсь, что ценность моих заметок, если я продолжу их на несколько предложений, приблизится к нулевой. Поэтому в завершение еще одна цитата:

*Хочешь придумать пытку мне лучшую, чем была?
Лучше уже не будет, так что спокойно для
прежний урок молчания: золото — тлен, зола,
пеплом становится слово, податливейшая из глин.*

Андрей Дитцель

Конец цитаты

Это конец цитаты. Начало новой строки.
 Попытка нестройную вечность увидеть из-под руки поэта, звенящую рыбку выловить из пруда на кончик подхваченной рифмы. Но он не зайдет сюда. Он будет — какая жалость! — на кухне хлебать свой чай, жаловаться на простуду и не доверять врачам, курить, в седом полумраке придумывать свой язык, к которому не приникнешь, как к матери. Чьи азы не выучишь по картинкам, не вызубришь с букваря — подобье солнечных крошек в густых пазах янтаря. А он, запивая чаем и зиму, и свой бронхит, пройдет на цыпочках, нежно, по канатной дрожи строки, проскочит, звеня подковой, по шахматной линьке букв, по нотам готовой пряжи, нащупывая — не судьбу, а что-то, подобное эху. Наверное, голос? Слух? Доверяя течению, лодке и — своему веслу. Вот так закончится вечность. Вытечет весь песок из стеклянных цилиндров памяти. Ты, подперев висок, уставишься в лист бумаги, как в чьи-то черновики. Отметим конец цитаты и начало твоей строки.

W (Хиромантия)

«Даббл-ю» натужно повторяет формы большого «ви», занимается приручением других элементов текста: лебединых знаков вопроса, занявших чужое место, прочих чудовищ, не созданных для любви, но созданных для инцеста.

В мире, построенном на состыковке линий, состыковка знаков кажется знаком избытка, и беспомощно щурится новоиспеченный Плиний — толстая лупа, подслеповатая следопытка, — на то, что стало отныне

неизбежностью текста, побегами восклицаний, упреками многоточий, прозорливой ношей тире. Все это — картина Босха перед ее глазами, воспалеенье заката в горбатом, узком дворе образов, ощущений и осязаний...

Все это только предлог, на канву опереться, затихнуть, вздрогнуть и опериться, и кто теперь вспомнит, что когда-то здесь было тире, которое она оседлала, как породистую жар-птицу, чтобы лететь к рассвету, озареньем — к чужой заре?

Из искривлений текста, крылатых его агоний вырастает паучий вымысел, прячется в чешую мелодий, давным-давно занесенных в партитуры симфоний.

Из штрихов и черточек на твоей раскрытой ладони складывается W.

Эти игры в касания, скудные попытки списания на расчетливость нежности, упругую память доверья... Милый, перечитай апостольские послания или впусти котенка, скребущегося за дверь. Любовь не ведает страха. Сказано ведь, боящийся несовершен в любви. Мы оба несовершенны, мы боимся крохотного, на ключ закрытого ящичка, мы боимся простить и попросить прощения. Мы за эротикой жестов прячем эотику памяти, мы не ведаем жалости к сжавшемуся в комочек сгустку любви и нежности, мы оседаем в панике — призрачное единство сроднившихся одиночек. Мы существуем в вымысле. Наш боязливый вакуум под стук торопливого сердца сжимается — прячем в горстке. Мы пытаемся впитывать море посредством раковин, знаками говорить, подобием книжной верстки с безбрежностью, беспричинностью жизни, необратимостью веры, с ее упорством, с ее незаконным ростом. Мы не целуемся, мы — становимся побратимами с каждым новым вращением в рыхлую землю простынь.

Так меняется бабочка, прорастая в теплое, черное, в сумрак, в тайное проживание неназванных ощущений, так вылетает она из ночи, смеясь, подчеркнуто отрекаясь от горечи прежних своих воплощений; так, касаясь струи воли, струи воздуха, отвечает зеркальной улыбкой солнечному лучу, так, не зная роздыха, преображает воду в ска-терть с каемкой-кружевом, в радужное чудо, так, готова измену жемчугу и перламутру, цветку с молчаливой душой, солнцу внутри облака, поспешно скрывается в ночь — изучать мудрейшие сутры и постигать ничто. Отсутствие всякого облика. Бесконечно, беспомощно, доверчиво, беспощадно колыхаться в распушенной паутине ветра и просить: научи, научи меня щедро, звонко платить собой за крохотный миг счастья. Отражаться в луне, в щербатом ее зеркале, трепыхаться, как голос, не способный найти слово, ждать неизвестно чего — возрожденья, мелодии, смерти ли, — повторяться в самой себе. За неимением другого ритма, искать пристанище в скомканных задыханиях, стать осторожным осколком на скользком недвижимом блюде. Не называть трепыханье внутри стихами и повторять себе: это только прелюдия.

Механика расставаний

Это мой опыт прощания: зажимает молчанием что-то неслышимое внутри, вонзается в сердцевину штопором — на мгновение позволено впасть в отчаянье, чтоб дружелюбным «пока» вернуться к вполне цивилизованному ритуалу потери. Устройство настенного зеркала покажется неизменившимся. Механизм надежен — почти. До узнавания — отчаянного и терпкого — останется полминуты беседы. И не больше шага пути. А потом пружина сожмется и станет верно, но медленно разжиматься, отбросив нас на концы заветной прямой. Так возникает время. Так творятся вселенные. Так возвращаются к облику в беспощадно лгушем трюмо.

Письма из детства

Действующие лица, видимо, вовсе не станут вмешиваться в это бедствие — бездействие. В это действо. День застынет бдением, и стоокая Аргус-Память разворошит листки — экземпляры писем из детства. Знаешь, страницы помнят, чьи руки касались пыльных, запеленутых в речи беспомощное подобье нежных образчиков вышивки. Неужели от чувств, столь сильных, остаются только царапины на громоздкой плите надгробья? Все это опыт пройденный, выверенный, обещанный, завещанный летней памятью. С книгою на коленях, ты тянулась за сливой. Сухие, как время, трещины покрывали кожуцу плода. Становленье. Или взросление? В беседке, увитой плющом, захлавленной и покосившейся, отныне гуляет ливень, как книгу, твой сад листает. А время застыло в дверях близорукой сухой кассиршею, которая жметя со сдачей... и все считает, считает...

Карандашный набросок

Карандашная вспышка. А потом ломается грифель, стачивается при слишком сильном на лист нажиме, не выдерживает напряжения весны и жизни. Дело вовсе не в том, легко ли рисуем, криво ль выводим линию сердца на тяжелой, рисовой, плотной поверхности бытия, мы смотрим поверх бумаги не в зеркало, так в глаза, сопротивляясь плохо видению лугов, с которых пунктиром крапленые маки смотрят на нас — Моне. Черепицу заката и кровель за оконной рамой не воссоздать черно-белым. Сегодня ты мне приснилась. Но как удержать твой профиль, возникший на гребне волны всегда случайным набегом памяти? Ты — всегда. Ненадежное имя, голос, укоряющий след водяного знака на сонном сердце. Карандаш ломается. Белым лист останется, голым сквозь невидимое письмо. Лишь случайная строчка дерзко упадет последней, ликующей вспышкой в память. Ведь сегодня ты мне приснилась. Но как хорошо, однако, что карандаш не тупится, воссоздать пытаясь, представить, а бессильно ломается перед морем пурпурных маков.

ХОРВАТСКИЙ ФОТОАЛЬБОМ

1. Пула

Я повторяюсь и повторима в имени, в створках амфитеатра, звонкой подкове Древнего Рима, брошенной всадником где-то у моря, в солнечной вспышке удачного кадра, в створе с памятью и в разговоре

с городом, местом, пейзажем, бассейном Леты, заросшим хорватской речью, с тем, что вырастает размытым, весенним небом в руины Arena di Pola, с фиговой водкой и сыром овечьим. Не разговор — изумленное соло

стройной туристки, застывшей на фото. Что ей останется, кроме соблазна блеклый альбом перелистывать: вот он, город, возникший из южного гула, город, давно на забвенье согласный, — город согласных в имени Пула,

солнцем палимый, балканский, опальный, загнанный в скобки, в строфу, в перепады амфитеатра: приморские пальмы смотрятся в небо, смотрятся в море — тяжестью фона — а что еще надо? — и не участвуют в разговоре.

2. Еще один фотоснимок

Створчатым гулким подбьем римского амфитеатра
строфы сжимают пространство до тишины и щелчка,
до смещенного ракурса одного удачного кадра.
Фотобабочка ловится на растерянный зов сачка.
Снимок сделан — затишье. Легко ли ему, отснятым,
но непрявленным, оставаться где-то внутри?
Оголенному слову с выжженным ароматом,
непривычной тайне затемненных витрин?
Слово сказано. Грецкий орех расколов, в скорлупке
обнаружим новое, сияющее впотьмах,
и, зажав его в клюве, понесем, подобно голубке,
из ковчега навстречу морю. Но один осторожный взмах
твоего сачка — и вместо острова будет суша,
вместо рокота моря — гекзамер Илиад.
Вот еще один экземпляр на альбомном листе засушен —
мотыльком упавший в коллекцию драгоценный видеоряд.

3. Отпускное

Отпускное такое, курортное и тягучее,
запиваемое вином на балконе слово «Опатия»,
перелистанное зимой, затертое и закрученное
в неподъемный дорожный узел — когда захлестнет апатия, —
воспоминанье о море, сочное, переспелое:
небытие страницы, небытие явления.
Восходящим солнцем пленку засветит: белое
нестираемое пятно совершенного преступления.
Так отпуская же в небо, не помни и не удерживай
отпускное чудачество чаек кормить крошками,
не кричи им вдогонку, хлеб искрошив: «Где же вы?»
Замерев на фото, пусть вечно летят в прошлое.

un peu du soleil

Остатком солнца в талой холодной воде с
холодною пеной дней на прибрежных камнях,
река, я качнусь в тебе, — Волга, Сена: вот здесь,
в моей оболочке, в тусклых комнатных снах

начнет пробуждаться «я», начнет создаваться миф
растаявшей перволюбви, прочитанных первокниг,
и первоцветом памяти за невидимыми дверьми
лопнет дрожащий воздух, задетый солнцем на миг.

солью покроется день. высохшая тишина
погладит меня по щеке. неподвижный уют
спрячет меня от своры гончих «надо», «должна».
часы все равно пробьют.

зеленым, болотно-зеленым зарастают твои глаза.
осока и водоросль глушат декоративный пруд.
я тебе сделала больно. я не со зла. но за
давностью лет начинает казаться, что все все равно к добру.

комнатный миф прорастает из цепочки первопричин,
градом стучит по крыше, ломит до немоты.
я говорю тебе правду. главное ведь почин?
«я» никогда бы не было, если бы не было «ты».

ты говорила, дружба и есть любовь? ну так вот,
во мне еще бьется память. по крышам стучит град.
все, что от дружбы осталось, — несмываемое родство
сердца, un peu du soleil dans l'eau froide.

«два плюс два все равно останется два»

И потому теперь они уже не вдвоем, а вчетвером,
в тот сочельник, той темной декабрьской ночью
скакали на двух лошадях по промерзшим ухабам;
сначала вчетвером, а позже только вдвоем —
Чарльз-Шрив и Квентин-Генри...

Уильям Фолкнер. «Авессалом, Авессалом!»

Два плюс два все равно останется два,
потому что Генри и Чарльз Бон
скачут до сих пор в канун Рождества
не домой, а от дома, потому что бо-

льно и страшно, глаз засорив,
притворяясь неплачущим и безучастным,
потому что в холодной комнате Шрив
догоняет Квентина — в путь за счастьем,

за любовью в погоню — от нее же прочь
и от лета, глициний, жары, Джудит,
потому что Кассандра нам напроорочит
лишь о прошлом, а будущего не будет.

а попытку дружбы заглушит рок,
разгоревшийся призрак гражданской бойни,
потому что тебе не ступить на порог,
самозванец и брат мой, от нашей двойни

остаются навечно белое-черное,
или просто: черное на белом фоне.
потому что мойры давно уже чокнулись,
потому что Джудит тебя похоронит.

два студента в кампусе. ночь. мороз.
лабиринт истории. поиск значим,
потому что мы ищем смысл и всерьез,
потому что мы прочь от дома скачем

или к дому. заново пишем текст,
добавляем кусочки готовой пряжи
к высохшим генеалогиям тех,
кто никогда ничего не расскажет.

в отупевшем подрагивании ресниц
зной отчаянья. ненависть. холод. полночь.
это мы по белому полю страниц
мчимся — нам не придут на помощь.

потому что неизбывность памяти старит
только тех, кто в будущее может верить.
потому что Уве Йонсон в нью-йоркском баре
сразу так и представится: Чарльз-Генри.

два плюс два. одиночество не в квадрате
и не в кубе, а сразу в четвертой степени.
одиночество близнецов на вахте.
друг за другом: прицел на виске ли, темени...

догоняя друг друга, мы скачем вровень,
чтоб лицом к лицу — с собой — очутиться.
потому что капелька черной крови
несмываема на белизне страницы.

Сестрам

Дождь: иллюзия ожидания?

Или видимость растяжения
времени, бега, вокзального здания?
Взгляд назад в двойном приближении
или детская придурь облака,
молочно-белого, с птичьим профилем?
Лучше б без проводов. Слишком долго нам
жить в подчинении философиям
восточным, западным, южным, северным,
дождям с их песнею — тоже долгою, —
только слепой и душистый клевер нам
напоминает закат над Волгою,
детских следов упругие вмятины,
теплую заводь с песчаным берегом,
туфли — Машины, Олины, Катины, —
брошенные на траве под деревом.
Трубный гудок — и в дорогу дальнюю.
перрон качается, будто раненый.
Проблеск руки в окне и вокзальное
здание с выцветшей влажной радугой...
Вокзальная скука — для остающихся.
Пусто... Нам бы с тобою проблемы их!
Нам, не прирученным в детстве, рвущимся
на поезда — во всех направлениях...

Умирать от нехватки слов мне случалось часто,
но я каждый раз выживала, и каждый раз был последним.
Задыханье словом казалось сродни задыханью счастьем.
Я бросала в огонь остатки памяти вслед поленьям
и искала скрытые смыслы в очертаниях дыма,
уносимого ветром в сторону — прочь от дома.
Ведь пока ты живешь, а точнее, пока ты дышишь,
остается надежда на то, что продлится долго:
на устойчивость мира, то есть на прочерк ветра,
трубный голос разлуки, окаменение пальцев
и слова, слова... Чудовищный, предрассветный,
залпом выпитый морок: в сто раз озвученном вальсе
вновь и вновь по холодной комнате вились тени,
дрожь бессонницы — липкое, нерожденное завтра...
Я упрямо двигалась в собственной немоте, не
различая в окне встающего красного зарева,
и ждала чего-то — появления его с повинной,
торжествующего, как знак с моего надгробья.
И оно возникало со светящейся сердцевинкой
и летело Тебе навстречу: Твой замысел и подобье.

Ностальгия по дереву

Ностальгия по дереву. Тоска по теплomu телу.
Прислониться щекой к коре — сухой, безучастной,
торжествовать и выдумывать еще не одну потерю,
ночью плакать в постели, застревая на узкой гласной,
как пластинка, истертая употребленьем. Время
осторожно стирает границу меж простыней и телом,
превращая в иллюзию певучее наше бремя.
Ностальгия. Рисунок по дереву черно-белым,
по бересте забвения неумелым скальпелем — вспомнить,
превращая в контур письма почти незаметный шрамик.
Вороватой синицей юрко вскочит на подоконник
торопливая завязь — или запись в решетчатой раме
дневниковой страницы. Тетрадные клетки убоги,
а убористый почерк зашифрован для посвященных.
Кто нам скажет теперь, что за гость стоит на пороге,
на ветру теряя сухие листья без счета?
Это дерево-арфа упирается ввысь стволами
порыжевшим на солнце трехголовым сказочным змием,
и за нами дачной собакой кидается с хриплым лаем
злая память. Прости нам. А если можешь, возьми и
заглуши этот голос. Рождение — та же бездна,
так в какую почву врастаем, где наши корни,
кто вернет нам то, что сами мы, худо-бедно,
попытались сберечь, но в конце растратили, коль не
в темноте зависшая нить опаленной арфы
над лесной тишиной, над птичьим пенем знакомым,
над дорожкой к саду — звук, мучительный дар нам,
продолжающий длиться за Летой. За Рубиконом.

Вспоминая Барбару

Для Барбары Келлер

* * *

Девочка с русой челкой — верхом на пони.
С новеньким школьным ранцем. Улыбчивые родители.
Пристальный взгляд с фотографий настойчиво просит:

вспомни.

Вспомнить я не могу. Я ее никогда не видела.
Девочка с фотографии в голубеньком летнем платье
чуть заметно поевживается — видно, зябнет от ветра.
И хотя очевидно, что не хватает тепла ей,
в сад с босыми ногами выбегает — детская вера
так настойчива в нас, что несет навстречу упрекам
наших чутких родителей кукле стирать одежду
и развешивать на веревке, вздрагивая от шока,
когда старший брат, куклу зажав между
великаньих ладоней, кидает ее в воздух.
Девочка с русой челкой плачет, застыв на месте.
Он всегда будет помнить. (Семь лет. Неизменный возраст...)
Он никогда не простит себе. (За день до ее смерти...)
Столько-то лет спустя картинки изменят объем,
призрачным символизмом обростут заветные байки,
как она возилась с кукольным мокрым бельем
или как мечтала деньги забрать в банке
и раздавать прохожим. Как потерялась на пляже
и упорно твердила, что ее настоящее имя не
Барбара, а Рапунцель — так найти ее было даже
проще. Где это было? Каваллино? А может, Римини?
Столько-то лет спустя он будет носить в портмоне
две фотографии, две вспышки в сумке сердечной —
неповзрослевшей женщины (так он думает обо мне)
и зрелой матери-девочки, семилетней навечно.

* * *

Кроме возраста, что у нас общего?
Время. Чтение сказок в детстве.
Только мне полегче, попроще бы
быть. От себя никуда не деться,
говорят, а мне хотелось подальше
от себя. Хотелось сильнее
биться в сетке железного века,
биться в клетке, где судьбы наши
никогда не скрестились. Так ветка
распускается по весне и
зеленеет навстречу лету,
пламенеет навстречу чуду.

Ты такую была в семь лет.
Я такой никогда не буду?

* * *

Рапунцель. Дикий цветок, Рапунцель,
распускай свои длинные косы,
напевай, как мотив. Распустишь —
расчесывай гребнем, медленно
поворачивайся и косо
улыбайся тому, кто рядом,
и смотри обольстительно, искоса.
Он, клянусь, не выдержит искуса.

Рапунцель, кидай неводом
свои золотые волосы,
дождем упадут — не вода,
так радуга, а не радуга,
так в самое небо лестница,
так струйки звенящего голоса,
небесной очищенной радости...

* * *

Неизмеримо высоко до неба,
 даже когда ты в самой дальней башне:
 ты заперта. Внизу твой день вчерашний
 меняется. И я надеюсь не на
 чудесных избавителей с равнины,
 с переставляемых холмов, строений,
 лесов нестройных. Все они видны мне,
 но безразличны. Как лото в бумажной
 обертке. Там внизу, в густой траве, не-
 слышимый кузнечик пел, отважный
 и робкий, полудетскую молитву,
 псалом, что к небу тянется травинкой.
 И я надеюсь даже не счастливой
 быть, а счастливой — женской — половинкой...

И я смотрю в разомкнутое небо.

* * *

Вспоминая Барбару, мы меняемся сами,
 а она не меняется. Она остается той же.
 В холодеющем небе, между ангелами и Весами
 нам всего лишь мерещится повзрослевший профиль. Похоже?
 Завтра будет завтра. Сестры вернутся с танцев и
 закричат «Неправда!», но им придется поверить.
 Оправданием дня станет снимок, слепой и глянцевого,
 невозможной, как детская полуулыбка, потери.
 Воображение будет долго, поскольку лживо,
 приукрашивать правду, и нам останется проблеск
 веры в то, что мы будем меняться, пока мы живы
 и пока мигает звезда сквозь тонкую прорезь
 кучерявого кружева. Замурованы в нашей башне,
 будем в окна следить за обточенным лунным гребнем.
 А пока она с нами, с ее улыбкой бесстрашной.
 Мы не видим ее. Неужели мы снова слепнем?

Пляжный сезон

Бикини в черно-белую полоску.
 Лужайка, размалеванная тенью
 и светом. Между берегом и телом,
 загаром натираемым до лоска,
 зазор не больше здесь, чем между телом
 и телом. Впрочем, в плоскости души
 уже не важно, кто там, между делом,
 к пейзажу, как заплаतोю, пришит.

Открытие купального сезона:
 потягиванье дня из банки пива,
 пока самозабвенно и лениво
 сыр солнца источается слезою.
 Пока продукты времени и смысла
 беззвучно бродят где-то в глубине,
 а маклеры подсчитывают числа
 и ставят вентилятор в кабинет.

Купальные костюмы всех расцветок,
 без модных наворотов и по моде,
 по образцам, чье время на исходе,
 как нам доносят данные разведок,
 на берег озера — велосипедный стрекот,
 веселая мышьяная возня
 и отголоски трепа и упреков,
 невнятных для тебя и для меня.

Затягиваясь зноем, как зевотой,
 в соблазн впадаем: может, тоже ляжем
 под тентом, под кустом, сростемся с пляжем,
 разморенные качкой отчего-то
 на берегу. Мы, опершись на якорь,

напоминаем корабли в порту:
часами медлим в ожиданьи знака
и наконец выходим за черту,

в большой заплыв — вглубь озера, туда, где
пляж кажется лишь ковриком у двери,
картинкой на стене, по меньшей мере,
а не базарной толчеей в Багдаде.
И вот на расстоянии руки, не
в руке уже, но вскоре вновь в руке
пейзаж на солнце сохнет, как бикини,
испачканное в иле и песке.

* * *

Ласточка в храм залетела, а вылететь — кажется мелкой
рябь потолка, потайное окно заперто глухо.
Проще остаться на своде едва заметной побелкой
вроде крылатого голубя, то бишь Святого Духа.
Тенью упрека в солнечном сердце Тосканы,
под живительной сенью тяжелых сохнувших простынь
нерасписанных сводов сердце сжимает тоска — не
осенняя и не зимняя даже, просто
неисполненное виденье оперившегося заката,
виноградников Кьянти, холма с кипарисовой рощей
и бездомной ласточки, устремившей свой путь куда-то
в глубь небесной тверди, голубой, мозаично-прочной.

Равенна. Отлив

Tu qui es ego fui et qui ego sum tu eris.
(надпись на надгробии)

Лишь по ночам, склоняся к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
(Александр Блок)

1

Почему в именах Венеция и Равенна,
в ускользящем эхе, мечтательном и пугливом,
чудится привкус моря, вливаемого внутривенно?

Горько-соленая Адрия, обнажающая отливом
беззащитное дно и прерванный сон ракушек,
розоватость неба, отвагу первопроходцев,
начинающих утро с медлительной и роскошной
процедуры рождения — возвращения — вслед за солнцем
и за чайчим криком.

...В упругой заводи Лидо
торжествует затишье. И только отлив рисует —
по старинной дружбе — меня, горожанку с виду,
лет в одиннадцать, удивленную и босую...

2

Ни цветенье Флоренции, ни золотая измена
ветру твоей гондолы, Венеция, ни затишье
памяти не сотрут тайной судьбы Равенны,
чей обшарпанный облик кажется нам излишним,
выдуманым, чужим, наверно, просто вторичным,
избранным наугад адриатической волей.

Город, прячущий Лик за маской своих обличий,
город, прячущий дно под грузом морской соли,

я выбираю тебя — наугад ли иль по наитью,
задыхаясь от света мозаик в сумраке храма,
удаляясь в глубь тишины, одной неведомой нитью
и ведомая, и хранимая — от боли, мрака и срама.

3

Помнишь, нам показывали тогда какие-то слайды?
Наша Москва светилась шпилем в окне, мы знали,
что настоящее — солнечный зайчик, и ладно,
сноп проточной воды.

Базилика Сан-Витале.

Помнишь, закат в декабре был мозаично-розовым —
смесь городских огней с потоком живых лучей.
Ода вечернему небу с цитатой из Ломоносова,
вызубренный стишок, классицистично-ничей?

В ту же реку нам не вступить. Никогда. Но помнишь ли?..
В тот же закат — тем менее. Писать тебе? Но о чем?
Что я стою перед слайдом? Живым, еще более солнечным,
чем стена нашей классной комнаты, разбуженная лучом
проектора?

И ликуя, в охре солнечной накипи,
В окруженьи святых и ангелов, в зелени и синеве,
Господь восседает на шаре, взглядом нас обволакивая
и здесь, на этой земле, возвещая Новый завет.

Я знаю, что никогда мы уже не пройдем от метро
к зданию нашей школы — позволь мне быть откровенной, —
но то, что когда-то в нас разбудил тот давний урок, —
прости мне пафос — бессмертно. Сегодня стало Равенной

то, что тогда сжималось, мучило и болело — мы никогда не узнаем цену тому круженью. Но наступил этот день, одежды Христа стали белыми, так, что больно смотреть. И это — Преображение.

4

Если закроешь глаза, то, может, услышишь, как в затопленном храме золочеными бьют хвостами стаи поющих рыбок — все явственней и все ближе — грегорианский хорал. Не торопись, останься.

Много не нужно — ждать на краю судьбы, дороги, в гуще воды разглядывать следы напольных мозаик... Может быть, ты почувствуешь, что тишина дороже бесконечных поисков, бесконечного ускользания.

И синева отдаст тебе хвостом вильнувшее тело, показавшееся сперва кусочком охристой смальты. И тишина откроет все то, о чем она пела и о чем — как казалось тебе — не знал ты.

5

Вместо рассеянных камешков на прибрежном песке, сплетенных в узор, неверный и хрупкий, хочется выпросить всю, без единой трещинки, нежность.

Лучше всего одежды, глаза и руки в цвете — густом, сияющем — и в движении, в торжествующем марше, когда ты смотришь на своды и на апсиды снизу. Кажется, в приближение эти фигуры теряют что-то от той свободы, которой их наделил чуткий, незримый мастер, глазомером опробовав вес, пространство и формы, подержав на ладони — на ощупь — цвета и масти и влюбляясь сильнее и сильнее в полноту гармонии.

И пространство держится на едва очерченных спайках, даже если кажется, что его легко расколоть, и синее море в парусах, гребешках и чайках, и крепчающий дух наполняет, как парус, плоть.

6

Город-гробница прячет тебя от сумерек в задохнувшийся солнцем и пахнувший твоей дворик. Ты проходишь владеньем тех, кто жили и умерли. Галла Плацидия — или же Теодорих.

Мавзолеи и баптистерии. Этот город погружен столетиями в сон, томительный и осенний, но входя в воды смерти — как, наверно, ты знаешь — скоро ты восстанешь с Христом в упоительном воскресенье.

И, разбужен весной, ты пойдешь за нитью-тропую, узнавая и синь, и охру, сквозь явь — куда-то, где олень стремится к желанному водопою и где Новую Жизнь воспевают тень изгнанника Данта.

7

ночью
мне приснилось оно
пятипалое с щупальцами как медуза
темнотой подсвеченное
с накипью белой пены
я поняла что дно
будет скоро отнято грузом
черной воды
это прилив
надвигается постепенно

я поняла что словами
potge или amoge
не откупиться от смысла
ставшего тонким тесным

точно стенки сосудов
это подходит море
к изголовью
рушит хрупкие стены

я боялась проснуться
но шум его волн баюкал
пряча мозаики снов
втягивая молчаливо
в бездну

я остаюсь
пока вместе с сердцем бьются
волны
вслед им
нового ждать отлива

Сентябрьская зарисовка

Утка всплеснула крыльями, и вдвоем мы
смотрим в открывшую глаз изумрудную заводь,
как она снялась с поверхности водоема
и крикливая, шумная, понеслась куда-то на запад.
Водоем зарос камышом, ряской, осокой,
но в середине вода пробивается и лоснится
на предзакатном солнце, еще высоком
и слепящем глаза, рябящем и сквозь ресницы.
Вдруг в разрезанной облаком перспективе небесной сини
промелькнет, исчезая за узостью горизонта,
то ли крепнущее крыло, то ли лист, слетевший с осины,
только что зеленый, подернутый позолотой?
Нам пока все внове. Так ребенку про смысл вселенной
отвечают смущаясь, небрежно, почти что в шутку.
Но почему-то душа, вырвавшаяся из плена,
кажется нам похожей на ту же утку,
на летящий знак, буквицу мертвой речи,
вдруг проснувшуюся, подающую звонкий голос
и ответа ждущую — но ответить обычно нечем,
несмотря на нежность и боль, горечь и гордость.
В осыпающейся пыльце, мошкаркой обживающей воздух,
горизонта тончайший волос кажется золотистым.
И, закатом застигнуты, смотримся мы, как в воду,
как в глаза друг другу, в свет заосенних истин.

В осеннем кафе

В опустевшем кафе перевернуты столик и стулья.
 Ливень. Липнут к асфальту отсыревшие листья кленов.
 Как слова беспомощны, вылетевшие из улья!
 Но почему-то гость улыбнется им. Просветленно.
 И отправится внутрь думать над капучино,
 меланхолично осматриваясь в интерьере кафешки.
 Надо думать, всему виной следствия и причины
 и, конечно, дождь. Конечно, осень. Конечно,
 кинолента грусти на фоне большой дороги:
 маленькая фигурка, играющая на трубе,
 дрожь замиранья в тон, доступная столь немногим,
 «И наверно, — добавит он, — невидимая тебе».

* * *

Я, любимый, пишу элегии. Про золотую осень ли,
 про то ли, что золото кончится... Но много его в аллее.
 Как ковер Агамемнона, обещающий нам не прозелень
 невинности — пурпур опыта, — под ногами оно алеет.
 И предлагает тропинку, заваленную каштанами.
 Гладкий маленький плод, холодноватый на ощупь,
 остается в ладони от жизни, что не застанем мы,
 уходя от попытки вымысла сквозь золотую рощу.
 Скоро все поредеет. Осыпется. Обнаженная
 ноябрьская тишина проступит вослед за бурей.
 Я, любимый, пишу. И все ложится на жеваный
 лист бумаги. Не проще ли, отсыревший и бурый
 лист осины, ольхи, любого другого дерева?
 Лист сохраняет все, о чем попросишь. Тончайший
 образ молчанья. И самой невечной потери. И
 мысли о том, что ты никогда не читаешь
 писем моих, стихов. Из рассыпанных образов черпая
 силы для слабого голоса, хриплого — против ветра,
 пью эту осень — вино, непоправимо терпкое.
 И, наверно, сродняюсь с теряющей листья веткой.

* * *

Под занавес осени с ненowymi новостями,
 в опустевшей комнате, где мы не те и не с теми,
 потягиваем вино и время беззвучно тянем,
 по теням скорбя и превращаясь в тени
 прошлого, будущего, безнадежья или надежды.
 Нам из окна не видно, да и не надо,
 как проходит время, покуда мы «где ж ты — где ж ты»
 повторяем — бессильное, как осени канонада.
 Посмотри, как листья бегут, летят по скверу:
 от памяти убегают? догоняют друг дружку?
 Как церковный колокол возвещает «Верую» смерти
 или начало мессы, звоном монеток в кружку,
 звоном распада — в душу. Прости, прощай, прощайся,
 повторяя слова, про себя, в заколдованном ритме.
 Веруй: ты на пути. Знай: ты на дороге к счастью.
 Потому что все дороги ведут — неизбежно — к Риму.

В ожидании снега

Он мне приснится, и ты не узнаешь. Один
 из тех, в кого долго и глупо была влюблена я.
 И смутная жалость растает снежинкой в груди,
 начавшийся день узнаванием любви пеленая.
 Наш город-раскраску листают беззвучно ноябрь
 и сыпет на крыши каскады бесцветных горошин.
 Нет, это не тайна. И можно бы было... Но я б
 тебе не сумела сказать, объяснить, мой хороший,
 как сладко и сумрачно в том захудалом мирке,
 где ходят в кино на забытые фильмы из детства,
 где держатся за руки, слушая дождь, как оркестр,
 когда от стаккато финального некуда деться.
 И сон растворится в прозрачнейшем дня веществе,
 почти без остатка. И тоненько сахарной пудрой
 присыпет покатые крыши белесый рассвет.
 Наступит наш день. Наше первое снежное утро.

Музыка

Йоханнесу Элиасу Альдеру, музыканту-самоучке из австрийской глубинки, который умер от того, что решил больше не спать, чтобы не переставать думать о своей любимой.

*По мотивам романа Роберта Шнайдера
«Schlafes Bruder»*

Умереть — легко. Трудно — глаз не смыкать, то есть смотреть и видеть, вслушиваться и слышать. Музыка — гнев Творца, предгрозовой раскат — издали возникает, с каждой октавой выше молнией пораженных сосен, туманных Альп, не различимых глазу вершин, занесенных снегом. Одновременно в хорал вступают тенор и альт. Музыка продолжает крушить твою плоть набегом бдения. Не закрывай глаза, раз ты дал обет больше не спать, живи, мучительно долго, маясь... Только смотри и слушай. Слышишь, это Эльсбет вдруг замедлила шаг, по лестнице поднимаясь. Камень на озере есть, запечатлевший шаг Бога, с гигантской ступней так безошибочно схожий. Время течет здесь иначе. С этого камня душа сразу, в одно мгновение в чертог поднимается Божий. Уходя дерзновенно от власти Смерти и Сна, будь расправившей крылья в обоих регистрах фугой, пролетай над землею. Слышишь, это она улыбнулась чему-то внутри себя. Властью звука постигай ее лучистую тайну. В горах обвал начинается и ведет мелодию — необратимо, как, наверное, смерть. Как лица любимой овал. С давних пор известно: Сон и Смерть — побратимы, кто же из них двоих пристальней и больней отнимает у нас музыку, силы, время? Не закрывай глаза. Думай о ней, о ней, улыбающейся, лучезарной, прекрасной и близкой, брэнной. О потерянном времени, у любви отобранном сном, как бродячий монах — в бессилье своем — посетуй.

Вечной музыкой, не нанесенной на бумагу крючками нот, вновь любимая носит чужое дитя под сердцем. Каждый прожитый год отбирает часть ее красоты. Или на камне твоём кружатся дни быстрее? Час проходит за год, сутки за век, и ты слышишь, как музыку сфер, то, как Эльсбет стареет. Музыка — муза, мука. Слепнешь ты или свет гаснет сам по себе, но больше не удастся удержать. Удержаться. Слышишь? Сердце Эльсбет враной, открытой раной ускользающей жизни — бьется.

Одиночество. Ожиданье. Окно. Ответь мне,
 расставляющий эти нули по возрастанью — вдоль
 обнаженной линии жизни, продырявивший ряд отверстий
 в четкой линии сердца, пересекающей мою ладонь.
 Продолжай ворковать призываньем ручного слова —
 я не слышу. Не отзываюсь. Не повинуюсь. Сплю.
 Будет время еще бояться чудовищ многоголовых.
 Просто глянь за плечо налево и потихоньку сплунь.
 Не смотри на меня. На память, наугад заглянув в бездонный
 первобытный колодец, уходящий во тьму времен,
 я расставлю тайные знаки, как следы, на своей ладони.
 На замок заперев отчаянье, припишу сверху: «На ремонт».
 Ну прости мне это блуждание от окна до окна, от двери
 до стены, мои не-стенанья, повторимость моих клише.
 Каждый штрих на моей ладони боевым крещеньем проверен,
 попаданьем случайных пулек в разлинованную мишень.

В телефоне закончится речь, и проститься окажется нечем.
 «Очень холодно», — жалко добавишь, не надеясь
 согреться о жалость,
 но уже задохнувшись от слез, потому что и чужд, и конечен
 мир безмолвья за зыбким стеклом. Что-то дрогнуло.
 Всхлипнуло. Сжалось.
 Тишина, в тишине, тишиной. Так просить ли у суток минуты,
 так ценить ли смолкающий голос — безнадежно,
 но благоговейно?
 Мы покинуты? Но отчего ты по-прежнему здесь, почему ты
 продолжаешь сжимать эту чашку в сладких, липких потеках
 глинтвейна,
 как навязанный холодом груз, равнодушный подарок сезона,
 проедаая согласных желе вместе с крошевом слез и печенья?
 Почему этот мир — из стекла и прощенье его иллюзорно?
 Неужели не будет замены дню, разбитому для развлечения?

Под древом познания

1
 Говорили о времени. Что оно циклично, спиралевидно.
 Не линейно, — подчеркивали, — ни в коем случае не
 линейно.

С разнообразьем видов знакомились по Линнею,
 этикетки наклеивали на дорогие вина
 вечности, к воздержанью от молчания привыкали,
 говорили взахлеб из боязни спугнуть доверье.
 Заслоняясь от страха железом обитой дверью,
 на свету смотрели, как сверкает вино в бокале,
 пригубить которое казалось непостижимой,
 бесполезной до неприличия блажью твари.
 Так и жили, соблазнов не ведая и не старясь,
 утешаясь коллекционным образчиком жизни.

2
 Превосходные степени падают с древа, как вишни,
 их не достать рукой, не надо пытаться — слишком
 высоко оно тянется. Так что ты явно лишний,
 не наученный опытом, доверяющий странным книжкам
 мальчик из зазеркалья, мира теней без тела,
 с розами, перекрашенными в красный из белоснежных,
 устыдившихся нежности. Кто нас судьями сделал
 над устройством миров — не чуждых нашему, смежных?
 Мы все так же, собравшись на дне рожденья Инфанты,
 в ожиданье вишневого торта с глазурью из шоколада
 из бокалов отведали пузырящейся едкой фанты
 и чуть вспененной кока-колы с этикеткой Pina Colada.
 А потом начались не-настольные чудо-игры.
 И откуда нам было знать-то, да и куда нам,
 что оно прикинется для начала блейковским тигром,
 чтоб затем устремиться змеем за дюреровским Адамом?

Предновогодье

1
 Затишье, сон, предновогодье
 дверей полуоткрытых, полу-
 оставленных скрывать уголья
 роскошной ели, в ряд, до полу
 свисающих кистей ламетты
 и шариков до хруста хрупких.
 Войти и узнавать приметы
 влюбленности по стуку кружки
 о край стола, не оглядевшись
 в мельканье пышного застолья,
 и только после вспомнить, где же с
 желаньями листок, а толку?
 Банальные соблазны детства,
 часов чеканная соната.
 Сквозь тишь — нетронутое девство
 мелодии, сквозь сон сомнамбул
 и памяти, сквозь дверь прихожей
 тихонько выскользнуть из спальни.
 И ничего не помнить больше,
 и видеть снег, и дуть на пальцы.

2
 Стук желаний о подоконник,
 за ночь — столько желанной пыли.
 Белый ангел тебя догонит,
 пробираясь меж снов-извилин
 к устью памяти. В это море
 возвращаются тайно, редко,
 чтоб доверить уснувшей мойре
 белых ниток клубок, орешков

горсть с лица новогодней елки —
 мушек, родинок. Скромный пирсинг
 Рождества предстает нам колким
 ожиданьем, как снег на пирсе,
 речь вполголоса — Бог простужен, —
 сразу столько — пурги и вьюги.
 Расскажи, пожалуйста, ту же
 сказку, что в декабре, в июне:
 поступь легких белесых пятен
 в тополиных чертогах улиц.
 На мгновенье вернуться вспять, но
 убедиться, что все уснули.

Моему Щелкунчику

День ускользает из пальцев дождем за оконной
 тьмою. В столовой завесили плотные ставни,
 свечи зажгли. Оловянных гусаров — по коням,
 в ночь им скакать, сражаться во вражеском стане.
 Стопка ликера для гостя, а детям — орехи,
 Plätzchen*, конфеты и полный графин лимонада.
 Снега бы, — просим. Но дождь обнажает прорехи
 голой земли бессердечно и нежно. Не надо
 этих красивых игрушек, расплакаться впору.
 Милый Щелкунчик, зачем ты меня утешаешь?
 Елка наряжена, как королевна, нет спору,
 звонко, волшебно мерцает в ветвях ее шарик,
 а под ветвями подобье рождественских ясель,
 где пастухам и их овцам является ангел —
 мастерской, доброй рукой обработанный ясель.
 Рядом, под елкой, смотри — настоящие санки.
 Снега бы только. И мчатся на санках под пенью
 сердце саднящих и тешащих слух колокольцев.
 Знаю сама, я измучила вас нетерпением,
 что мне поделать, раз нежность под сердцем так колется,
 праздничной ели под стать? Лучше смейся и щелкай
 крепкие шарики бед, лучше детям в ладони
 сыпь сердцевинки побед, под разряженной елкой
 смейся и плачь, мой Щелкунчик, мой милый Адонис.
 Нежной глазурью печаль застывает на сердце.
 Как монотонно мышинное бдение будней...
 Впрочем, не слушай меня, уведи меня сказочной дверцей
 в детские сны — до рассвета, а там — будь что будет.

*Plätzchen — немецкое рождественское печенье.

Построждественское

Мое простуженное чудо,
 на ладан дышащий сочельник,
 в ладони холода ночуя,
 в мелодии виолончельной
 или в старинном волхвованье
 над горсткой слов, над кучкой пепла,
 раствором хвойной соли — в ванне,
 из пряных ароматов слеplen,
 войди на цыпочках, доверься
 курантов звонкому паденью,
 разбейся сумрачным довеском
 к дарам, которые поделят
 не верящие в свет в пещере
 и ждущие в потемках — чуда.
 Упорным прищуром прощенья
 я в лица всматриваться буду
 сквозь запыленное пургою
 окно троллейбуса, сквозь зимний
 пейзаж, я, что-то дорогое
 зажавшая в руке. «Прости мне».

Тысяча ночей

Тысяча ночей
 не прошли с тех пор, как парка
 обмотала вокруг пальца
 (от сестриц не опасаясь порки)
 солнца золотую нить
 в самом темном, затемненном сердце парка,
 согласясь повременить

верно, до сих пор не порван
 золотой узор, кайма в ковре из листьев
 или просто лето задержалось
 задержав свой взор
 тоску излив в нем
 на литье решетки
 на лежалой
 ткани бытия и расставанья

в этом парке бил фонтаном Лорка
 в этом бденье день искал название
 рассыпи потерь, сухой и ломкой

Тысяча ночей — промозглых, зимних, алых
 как огонь камина и кармина
 не прошли с тех пор
 от запоздалых
 слов нет проку
 все проходит мимо:

шум листвы под нашими ногами
 ароматы влажной, терпкой, прелой
 осени и жалости
 нагая

тишина, что каждой ночью грела
лучше компаса указывая путь нам
вдоль линованной бумаги плоти
в утлый космос запуская
к вьюжным будням
поцелуев
или в выдох
на излете

повторяя
очертания предместий
округляя очертания туманом —

что нам доводы, мы искренни и вместе
довели свое хозяйство до ума, но
не успели
уплатить за гобелены
что когда-то взяли в долг
у старой парки

слишком долго прочит лето
тяжесть плена
вязкость времени
изгиб щеки
и жаркий
след на коже
еле видимую поступь
вслед вещам, давно утерянным и пыльным
то ли солнца, то ли снов, а то ли просто
губ твоих

и слишком долго плыть нам
в тысячу ночей...

Имитация голоса

Что мне от этой радости, истончающей своды сердца,
кельи, где утлым пламенем бьется в лампадке память?
Подле тельца из золота — агнца кроткое тельце.
Что мне теперь — подобие звука губами мять,
ответвляться от шепота, голосовым отростком
вскармливая одиночество — тушу мою коровью.
Отроческое желание вылизывать из бороздки
и из соска выцеживать молозиво вместе с кровью.
Что мне от скудной брэнности, бережной, как ладошка
в вязаной теплой варежке, спрятанной в жизнь, как в кокон?
Ждать ли чего от голоса? Думать ли, что не ждешь, как
сам в пространство прорежется, вылупится ненароком?
Хор под тугими сводами будет пытаться гимном
парус надуть, дыханием выветрить все пустоты.
Что, разорвать шепоток? Подпеть? Истоиво так. «Помоги нам».
В стройный парад голосов вступить
звонкой фальшивой нотой
или опять беспощадно мять звук губами одними,
чтобы потом — в неминуемое: хрип, кашель, молчанье, выдох
терпкого имени Твоего — что мне Твое имя?
Разве умеет глина хранить вечность в любых видах?

Снег

Вечеру этот город заливается колоколами,
звон — от храма к храму. Началась вечерняя месса.
Задыхается эхом пространство, как собака-лунатик — лаем,
возвращается в отзвуке. Не находит себе места.
Это я по-прежнему жду. Это снег ложится на крыши,
тротуары, улицы. На кусты, деревья, ресницы.
Это ты, умеющий слушать, но, увы, не могущий слышать,
без меня — потерявшей облик, но еще умеющей сниться.
Чечевичной крупую пытались Гензель и Гретель
проложить себе путь, как надежду вернуться к дому,
где никто не встретит — и лучше б никто не встретил.
Но никто не знает, в какой заколдованный лес идем мы,
и никто не подскажет. И снег замедляет память
чечевичных зерен на свежем вчерашнем срезе.
В зачарованный омут откровенья прошлого канут,
в мелкой крупке утонут. Станут тканью вещей. Грезим?
Колокольным дыханием нас оплетает город,
вызывает из морока, тонкой ведет тропинкой.
Вот окно, где я жду. Вот окно, где ты спишь. Скоро
мы на просеку выйдем — только не торопи. Как
приглушенно и вязко отзывается чья-то память,
вдалеке, за заснеженной явью глухого хора...
Ничего, что я буду, прижавшись к тебе, плакать?
Холодеющий отзвук. Засыпающий снег. Скоро...

Любовь к географии

Географические карты врут:
нет ни Берлина, ни Афин, ни Рима,
их сочинили просто так, для рифмы,
в угоду нам. Чем экзотичней фрукт,
тем, говорят, заманчивей для глаз,
изысканней на вкус. Он не запрещен,
он просто спрятан от дорожных сплетен,
как в стоге географии — игла.
Он щедро расточает аромат,
как сладкие печеные maoni
в какой-нибудь захоженной Вероне,
он, как Ромео, сводит нас с ума —
воображения упругий плод.
Ты тычешься в раскрытую страницу,
и он, смотри, тебя не сторонится,
а ждет с тобою заключить комплот.
С ним обретаешь дерзостный талант
успешно верить в Атлантиду мифа,
где атлас подпирает своды мира
незыблемо, бесстрастно, как Атлант.

После радости

Той же вьюгой, слепящей память, слепившей дом нам
 под разверзнутым колким небом, ведомы мы
 не к обугленным теплым срубам, так к дымным домнам
 в самом центре чужого слова, чужой зимы.
 Прижимаю к сердцу, заговариваю подмену,
 learn by heart сердцевину дня, где тепло еще,
 пью топлёный пепел с отравой попеременно
 по три раза на дню. Забываюсь, теряя счет.
 Только голос волшебной дудочкой сладко, больно
 вызывает из плена плотно зажатых губ
 нотку, ниточку памяти, жертвующей собою,
 дочерна дотлевающей лилией на снегу.
 Невозможная радость и ведет, и мучит, и точит,
 истлевают бессильем. Но кто ты, мой Сирано?
 Дробь настенных часов бесконечно бессонной ночи
 повторяет, что знать не надо. Уверяет, что все равно.

Имя

Господи или тот, кто впервые дал мне имя,
 прозвучавшее смутно, нечетко, издавело —
 словно кто-то в беззвучный час истово и наивно
 за мелодию принял предгрозовую раскат, —
 тот, кто учил меня — школьницей ли влюбленной —
 пробовать на язык сладкий, щемящий лед,
 в щель упрятывать голос, плод возвращая в лоно,
 воду на мельницу лить, в ступе ее колоть,
 тот, кто меня повел, принимая на веру память,
 палевый плотный воздух речи, стихов, утрат,
 тропкой несовпадений, падалиц-яблок — падать
 в самую мерзлую ночь к беспросветным зимним утрам,
 тот, кто меня, наконец, не отпустил на волю,
 выдав мне право петь, плакать и ворковать,
 душной гарью открыв рот мне, вчерашней болью,
 точно фокусник, вынул, как карту из рукава,
 кто ты, я теперь здесь, я откликаюсь, ибо
 я — порожденье твое, твой послушный продукт,
 я продолжаю петь несмолкающей сонной рыбой
 или ее скелетом в недомерзшем пока пруду.

Одиночество выбирают, как гладкий плод на прилавке.
Одиночество предпочитают, как сон — звонку телефона.
Разбивают его на дни, как старинный роман на главки,
и читают долго, напряженно, неуголенно,

будто это и вправду — единственная из книжек,
а впереди еще месяцы, необитаемый остров.
Чтоб растянуть удовольствие, скатываешься все ниже
и решаешь кроссворд на теле того, что раньше
было крылатых слов поединком храбрым и острым.
Острое режет их в буквы. А между буквами — раны.

Так и живешь, не успев наглядеться на лица
славных солдат, погибших в бою смертью храбрых.
Закрываешь книгу. Переворачиваешь страницу.
Уходишь на кухню заварить себе свежего чая.
Речь — как легкие птицы. Но ведь у рыб есть жабры.
(Только рыбы глазают, не видят, не отвечают.)

Март (из цикла «Мартовское интермеццо»)

Признак весны — подозрительный призрак в сером,
страх наводящий своим изменчивым видом.
Что ты так ноешь, глупое, глупое сердце?
Ты не пугайся, я же тебя не выдам.
Ветром и светом ширятся легкие марта.
Что удержать он стремится крепким усилием?
Парус надуть ли? Нас ли, скрепив помарку
на договоре — мы сами о том просили,
чем притворяется, стекла нагрев жаром, —
бог-соблазнитель, — расхолаживая простудой?
Бьет в самый центр жжения. Бьет на жалость
и умудряется голосом быть. Оттуда
голосом нежным, которому — как же! — верим,
больше нам нечего ждать. В простынях болезни
он увязает солнечным хрупким зверем,
быстро взбегает по вязким ступенькам лестниц
в самые тайные сны. Остается с нами
запахом, заводью, заводным оберегом.
Что ему делать с крапленными ветром снами?
Он доверяет нас берегам и рекам,
те уж, наверно, вынесут нас куда-то,
где тишина и свет, надежда и слава.
Он исчезает, негаданный наш ходатай.
Вместо биенья слева — молчанье справа.

* * *

Я тоже люблю хлопать дверью, но... совсем неслышно,
да и не люблю, а просто так получается.
Сквозняки бесконечно разгуливают по дому:
стоит где-то открыть окно,
как уже где-то
хлопает дверь.

Я верю в предметы, в их погибшую душу,
и мне бывает жалко
оставлять их лежать в беспорядке:
книгу, стакан с недопитым чаем, огрызок яблока.
Что может быть общим
у этих потерянных
и потерявших душу вещей?

Необточенным мелким огрызком
выцарапываешь на полях свои скучные глоссы,
ласково
и беспечно приближая неумолимое.
Закончится карандаш — закончишься ты.
Каково — висеть — на кончике — грифеля?

Что ты боишься выдать в страхе
перед искусом Азии?
Чем, ты думаешь, она тебе сможет ответить?
Татарским разрезом глаз?
Я их на ночь закрою,
а ты пойди убедись, что все двери плотно
заперты.

Я умею
доверять изгибам моей фантазии,
но не вижу ничего, кроме
на меня смотрящего зеркала.
Можно, конечно, пытаться краем
глаза высмотреть что-то заветное,
но не найдешь и пары
потерянных прежде вещей.

И на всех парах
летишь от себя к себе,
в стремленье безумной ищейки
выворачиваешь саму себя,
забываешь заново скудностью до краев,
чтобы в конце концов отыскать желанное
и, кому-то одалживая,
не забыть сказать:

— Пожалуйста.

И добавить:

— N'oubliez pas de me rendre mon crayon*.

* Не забудьте вернуть мне мой карандаш (фр.).

Город

Вчера мне снился твой город — не тот, в котором была я,
а тот, где я никогда... Фантазия в чистом виде.
Все та же «любовь к географии», к поставленной
в ночь палатке,
к чужим рубежам, к нетронутости событий.
Мы странно взрослеем. И я об этом жалею.
Не в возрасте дело, не в мареве откровений:
пройдя до конца распахнутую аллею,
мы видим, что дальше — некуда. Улица. Муравейник.
И мы тогда возвещаем и urbi, и orbi
надорванным голосом (детский, дурацкий пафос!),
что мы отсюда уходим. Что мы быть поводом скорби
уже не желаем, от скарба скорбей избавясь.
И может быть, нам покажется чуть ревнивым
захоженный мир с его потерянным центром.
Но мы ничего не добавим к навеки созданным мифам,
к воздушному замку и прочным воздушным стенам.

рев-ну-я (фантазия на тему)

рев
тусклой воды океанской
о скалы —
бранным биением,
дождливой сиреной
буду молчать, ничего не осталось...
пенной
исчезну,
над призрачной бухтой
биться в висках, бить в решетку резную
буду,
твердить, задыхаясь: так будь ты...
из безголося тянуться.
ревную?

ну —
для чего нам такая поспешность
пламени всходы неторопливы
в сердце — в сердцах — выжигая нежность
тку тишину из колючей крапивы
только смотреть в небеса еще жутко:
вдруг всколыхнет лебединой пеной
прошлое, профиль, пространство —
отрада
и горечь последнего промежутка
ветер взнесет над кругами ада
пеплом, слепым мотыльком-парашютом
зрение кончится и истончится
дочери воздуха, где вы, сестрицы
дайте хоть братцам махнуть на прощанье
дайте проститься
но тают минуты
струйкой песочной на берег песчаный
(знать бы, за что, для чего, почему так...)

я
 или не я, я не знаю,
 кто я —
 тоже не знаю
 ну да, вот так
 значит, заигрывать с пустотой,
 сердце стирать о наждак?
 палец колоть, долгожданной кровью
 пачкать белесую пряжу метели,
 жить под заросшим беззвучьем кровом
 и за колючей оградой смятенья
 тешиться ль насыпью черных пуль,
 влажным ли уои душить утешенье...
 кончился твой и-уои-ль, июль,
 дай мне поднять глаза: я уже не —
 я исчезаю
 соленой пеной
 или послушной струей воздушной
 рыбки чешуйки раздам постепенно
 вместо хвоста отращу себе душу
 будет личинкой шуршать песком на
 дне — из кокона сна
 что-то разбудит, из душных комнат
 выведет — жизнь? весна?

Тайна

В сердце кочует тайна, невнятная мне самой,
 солнечным сквозняком двери перебирая.
 Что с ней делать теперь? Запереть ее на замок,
 замок воздвигнуть ей за радужной скобкой рая?
 В пыльном закатном луче тлеет воздушный сноп,
 сумрачная тропа с тишиной согласного ряда —
 в глубь Арденнского леса, за синюю дымку снов.
 Я не умею дарить и не умею прятать.
 Тайна моя — вот здесь (робко веда ладонь
 к пряной тяжести букв, пчелами вскормленных), тут он,
 сокровенный мотив, укрывавший сотней ладов
 неприступную нежность алавастрового сосуда.
 Не касайся ее. Не касайся этой воды,
 возвращенной течением вспять, опровергнувшей Гераклита.
 Не входи в лучистую тайну, повторяющую: «Войди»,
 не отворяй черты, предзакатной медью отлитой.
 Я допою эту воду. Расколдую (хочешь, скажи),
 я перепрячу зеркало, искажающее обличье.
 Хочешь, я разобью... И вне облика будет жить.
 Просто храни это слово, эту глиняную табличку.

Ночь в Арлиано

Чудо холмы вдалеке затянулись огнями
 чушь золотистой невинности
 лето наивное лето
 марево острова тяжкое чрево Латоны
 или тяжелые нежно-певучие волны
 Леты рождением и именем грезящей Леты

ночь в опустевшей гостинице
 мертвое время
 за спиной у меня
 ожиданье подобное эху
 с окнами полными пчел огоньков золотистых
 бабочек сонных кочующих хамелеонов
 правды и веры:
 хочу прикоснувшись губами
 к имени мира вкусить

а чувствую тяжесть и горечь
 неутолимое
 невозможно назвать его имя
 имя твое просыпаясь не вспомнишь
 и засыпая не вверишь
 белой подушке
 белому снегу
 белой бумаге

имя твое пройдет
 над холмами Тосканы скатерть
 выстелит темнота полная чудных звуков
 палевых островков и золотистых пятен
 знаешь что мне сжимает обручем голову
 что осаждает сердце
 что продлевает муку

не расстоянья нет
 не расставанья кто бы такое подумал

зренье и слух — золотистой корочкой хлебной
 горше и явственной памяти
 светлого шума
 между рекой и холмами
 землей и небом

страшно

Страшно правду сказать? Страшно ее не знать.
 Тонкий молчащий лед, корочка безразличья.
 До чего невозможна и мучительна белизна,
 беличьим бы хвостом смахнуть, синевой разлить — чья
 ласка наполнит легких легкий блаженный стыд,
 сонного хрусталя стаканчики или блюдца?
 Зубы сведя, молчу. Страх зажимая... Ты.
 Полый смешной хрусталь. Они так щекотно бьются...
 Абрис неверной правды вовсе неразличим,
 ластиком нежно стерт с послушной души бумажной.
 Как осторожно сумел он незнание залечить,
 как удалось — смолчать. Вовсе не больно — страшно.

Вместо письма

Вместо письма — потому что к утру слова мельчают,
 потому что вот уже, вот — полоса рассвета,
 серый призрак молчанья. Так где ж ты, сестра отчаянья?
 Погоди ускользать от меня в беспечное лето,
 дай хотя бы собрать оставшиеся крупницы
 заоконной мути в радугу, в свет — бессонниц
 синеватые тени, куда тебе торопиться?
 Утешать — не надо. Я просто — без слез — на солнце
 не умею смотреть. Застывает в глазах немое
 отражение света, и можно спастись, поверить,
 что вот там, за чертою взгляда и воли — море.
 Протяни ладонь — вскипит и забьется в сердце
 и пребудет вовек... А прочее — ответ: будни,
 золотым гребешком встающие в небе, чистом
 после гроз, вслед за сердце ведущей нотой — будь же.
 Посмотри, как шумит листва ворохом светлых писем.

Речные маршруты

1
С грузом речи расстаться,
 рассказать бы, поверить кому-то,
 на холодную гальку
 или на мокрый песок уронить
 небывалую правду о том,
 куда нас уведат
 ночные речные маршруты:
 в долгие чудные странствия,
 в светлое прошлое,
 в сны безымянной страны...

ничего не сумеет объяснить
 над холодной водой,
 над водой, пробегающей мимо,
 выносить ожиданье, как плод,
 просиживать на камнях,
 пока сумерки смерть
 не приблизят,
 не предскажут рассвет
 и не вложат в рот тебе имя
 не звенящую больше монетку
 тепло одного дня

и не выплеснут снасти «скажи»
 и осколки слова на берег
 несгорающей веры
 нескудеющей светом волны
 повторять про себя
 в тишине
 в тишину говорить
 верить
 что одно твое слово сомкнет финал тишины.

2

Найдешь языком ложбинку в прохладной шершавой речи,
 бисер, впадинки смысла на вкус и цвет разбирая,
 ростки, отливы запинок, складочек или трещин,
 в холодной пещере дыханья закручиваемых спиралью,
 а после легко пружинку отпустишь — так было просто
 дышать на ее конце, летящем — куда — не знаю:
 восторг и летняя ночь, река под мостом и звезды
 в раскрытой ее ладони, рассыпанный бисер знаков.

И кажется, что легко читать по ее извилам,
 холодную дрожь моста считая упрямой блажью,
 все то, что будет с тобой: площадка памяти с видом
 на набережную, где ты гуляла во дне вчерашнем,
 где яблони ищут ветер сухой поверхностью листьев,
 где веером сложит день за кадром щелчок заката,
 и ты никогда не поймешь, откуда они взялись-то,
 тропинки на кончиках слов, на кончике языка, ты
 сбежишь со склона холма, бескрайний воздух ломая
 попыткой его вдохнуть, но он уходит, крошится,
 и вечный рубеж — река, протянутая, прямая,
 с изогнутой скобкой губ, в ее рисунок прошитой.

3

Вдоль ладоней моих — реки теряют русло,
 пароводных линий гудки трубят растерянно,
 ищут путь в тумане, заученный наизусть, но
 непроходный — глушат его растения
 неслабеющей хваткой, неукротимым завтра.
 Захожу по колено в воду, собираю водные лилии:
 вдоль ладоней моих бродят икhtiозавры,
 проплывают рыбы с застывшими в камень лицами.
 Капитаны с мостков приказ отдают: дел-то,
 паруса подшить, расправить простой крыльями.
 Семь недель напролет дождь затопляет дельту,
 не смывая с ладони красный рубец имени.

4

Что я Тебе скажу, когда поплыву на ощупь
сквозь ледяную воду к мигающему маяку?
В чем упрекну Тебя, в чем? Разве могло быть проще,
разве не счастье — плыть в туман и глушь «не мо-гу»,
даже если маяк обернется Фатой Морганой
или блуждающим светом летучего корабля.
Плыть, бесконечно плыть в ту даль, где еще моргает
то ли моя же немощь, то ли Твоя земля.
С чем я уйду от себя, когда подспеет вечер,
тень на дрожжах взойдет, чем я к Тебе вернусь
в первую брачную ночь, что сомкнет ледяную вечность
от называнья имени до отверзанья уст?

Хозяйка стеклянных зверушек

Хозяйка стеклянных зверушек склоняется над витриной.
Они не слышат ее в запорошенном светом мире —
два шага от сумерек. А она стоит и смотрит
над миром стеклянным, которого не коснуться.
Так начинается вечер. И ты смотри на
фигурку в его лучах, но только не смейся.
Вот-вот затянет медком колокольного звона,
сомкнутся стрелки часов и утонет сердце,
и музыка обожжет, как всегда бывало,
холодная и стеклянная — что ж ты хочешь?
И ты звала меня, и ты меня не узнала, —
так повторяет Орфей, в переулках ночи
сжимая в горсти осколок неровной рифмы
и острого вдоха. Она от него уходит,
густой шоколад подворотен ей тешит сердце
и льдинка в бокале реки, вспененной кока-колы.
Иди, лови другое слово своею сетью
и прячь другую память в черные колбы.

Mine — by the Sign in the Scarlet prison —
Bars — cannot conceal!

Emily Dickinson

Радость моя, мучительнейшая из.

Как обратиться к тебе, чтобы тебя не мучить,
как мне молчать о тебе, снова молчать, на бис,
лучшую часть души отпуская на злую участь
быть, растворясь в пространстве, вздрагивать от щелчка
новой упругой секунды на циферблате цели.
Если опять не дрогнет нежный прищур стрелка,
некуда ускользать — щелочка вместо щели.
Только потом увидишь, как разверзнет отвес
звездный ответ пространства — все нам давно известно,
и ничего не попишешь, и невозможно без.
Чем же идти ко дну лучше полета в бездну
с верой в крыльях — лечу, с отзвуком — высоко,
сколько там ветер злой рассвет стрелой ни пронзал бы.
Чем мне петь о тебе — голосом, шепотком,
ветром колючих строк в утреннем звоне альбы?
Всем о тебе спою, бросив на ветер, — мы
знаем, какое слово, но не умеем — к счастью —
ветром распахивать двери алой нашей тюрьмы,
правдой горящих губ замкнутой, как печатью.

Сон с продолжением

Вот оно, скажешь. Верно: выдумать и забыть
Пигмалионом, не поверившим в Галатею.
Бледным изломом света на холодной глади судьбы
новый узор чертить, от предчувствия холодея,
как от грозы далекой. Похолодало. Верь
в этот раскатный звон ложечкою по блюдцу,
в ветер — сквозняк — молитву. Скучно хлопнула дверь.
Можно закрыть окно. А можно встать и обуться,
выйти в ветер и дождь или же — без дождя —
мокрый северный ветер, разбивший шатер у сквера,
и, никого не дождавшись, до самой реки дойдя,
долго смотреть с моста, как прибывает вера
в тихой отмели сердца — уток хлебом кормить, —
в русле больной реки, растасканной на каналы.
Смотришь — из окон замка — окон тюрьмы — с кормы,
как возвращается явью то, что во сне ты знала,
то, что — боишься — сотрет, смочет из виду дождь
или слепое солнце завтра, сегодня выжжет.
Участь ярчайших красок. Ты ничего не ждешь
и никуда не плывешь, просто живешь и видишь.
Слышишь ли стук дождя, думаешь ли о ком —
над черепичной крышей стайкой ринулись птицы
титлами притулиться в теплых гнездах икон,
в клейких клеймах судьбы пробуя уместиться.

Пошли и тотчас вошли в лодку,
и не поймали в ту ночь ничего.

Иоан. 21, 3

Неумелым ситечком сердца мне не выловить ничего:
ни чайники нелегкой правды, ни осколка сухого льда.
Рыбаки раскинули сеть и остались здесь с ночевой
у костра коротать затишье, раз в глаза ей смотреть нельзя —
белокожей рыбе-разлуке, открывающей темный рот,
чтобы вымолвить — нет, не слово — у нее не бывает слов, —
а запеть на песчаной отмели ожиданье наоборот,
разбиваясь хвостом о стайку звезд — единственный
наш улов,
навертев «ничего» на леску — невозможное «ничего»,
зацепившись губой о волю — непонятную, точно боль,
уходить в тишину, под воду — ожидание началось:
моя песня без слов, без музыки — говорить о тебе с тобой,
рисовать на песке так тоненько, так уверенно новый день —
вот рванется рыба-разлука, вот подымет она волну,
и останется только имя, точно вилами по воде
рассеченное на половинки — две неравных, — пойдет
ко дну.

Золотая вода стемнеет, как на снах настоянный чай
с горьковатым привкусом небыли — разве не было?
разве так?

В разнотравье июньской радуги ты удержишься невзначай
посмотреть, как певучий папоротник принимается расцветать.

Строфы наоборот

1
Есть мы, а есть украденная жизнь.
Как хочешь называй ее. Как хочешь.
Но если ты не веришь, то коснись
ран запятых, родимых пятен точек

и слов, что я бесстыдно отдала
бумаге некраснеющей — и в пламя.
Пусть ей воздастся по ее делам,
а мы свинец молчания оплавим.

Закрой глаза и не смотри на свет.
Пока не смотришь, он как будто изгнан
из мира, нам напетого во сне —
наивная попытка солипсизма.

И все-таки куда теперь смотреть,
когда раздарен весь янтарь до капли?
Вот день, застывший мошкой в янтаре,
а может, в горле — как его докашлять,

как выдохнуть, чтобы потом вдохнуть
и отпустить, чтоб больше не увидеть?
Так входят в света золотую хну
и попадают в темную обитель.

2
Сожму в горсти немое горло страха:
вот бабочка, разбившая о свет
тугие крылья в горстку мглы и праха,
но в тишине оставившая след,

дыхание — оно темно и бренно,
о нимфа, не проснуться нам от снов,
в которых желтоглазые сирены
заманивают корабли на дно,

надежда — черным парусом на мачте —
подходит к видимой для глаз черте.
Спаси меня от красно-черной масти,
от разноцветных маленьких смертей, —

и отчего так жажду не посметь я
взглянуть на скрытый горизонтом знак, —
спаси меня глотком противосмертья
от яда знанья, продолжая знать —

Эгей с Тристаном вглядывались в старость
и немоту, глухой конец от ран.
И алым обернется черный парус,
пересекая утреннюю грань.

* * *

Все, что пытаюсь и не могу сказать,
все, что пытаюсь и не могу — тебе.
Протянув на ладони, жадно беру назад.
Сомневаюсь, слышишь ли ты теперь,
как звенят колокольчики смысла сонливым вооот —
словно в вату укутано звонкое: здесь я! здесь...
Принимается вечер сквозь гадательный сумрак вод
расправлять, баламутить, мешать голубую взвесь
с перламутровой мутью. Чем же оно к утру
распряжится, какую правдой растянется в наших снах?
Я иду вдоль линий ладони. Я их потом сотру,
но сначала взгляни на проступивший знак,
только тебе понятный. Больше не будет ни
светлой блесны клинка, ни замка из-под руки.
Здесь мы смотрели на воду. Здесь мы были детьми
с разницей в пару изгибов одной реки.
Солнцем бисквитным кормит слепое дно
бледная заводь. Вспомнишь ли ты впотьмах,
как мы пытались помнить, знать и беречь — одно,
не вместимое ни в строку,
ни в скупой подстрочник письма?

Красная нить на белом

Теплым раствором крови согретый день
тянет тебя на дно. Тонет в твоём покое.
Подержи на губах утешительный лад «нигде»,
белой слепой зимы нежно коснись рукою.
Верный замес латыни и молока
кладку хранит надежней, чем тело — латы.
Ты-то можешь не знать. Только чья-то рука
нежно выводит вязь на неровном стволе расплаты.
Пенье, морозный дым... Он все молчит... молчит.
Эхом тебя зовет в бледном немом кристалле.
Темным неведеньем боя расписан щит,
кружевом боли, солью ночных ристаний.
Время замерзло — вряд ли пойдешь туда,
в зимнее малокровье неясной боли.
Сердцем согретый сумрак коснется льда —
что за узор оставляет он за собою?
Вязнет в бору тончайших видений след
путаной крови, красная нить на белом,
нить Ариадны даже для тех, кто слеп,
ход бытия с почасовым напевом
бдения, памяти — тихо, из самых сил,
с самого дна зимы, там, где несет листву и
небо, в наше стекло бьет листвою Иггдрасиль,
сквозь замерзший узор проступая и повествуя.
Но никому не ясно — чем, к чему и о чем.
Только узор любви сквозь кружевную немощь
алым сквозящим светом, теплым живым лучом
бьется — тишайший голос в мире, где все так немо.

возведение в квадрат

1
Такое лето началось
такая дробь оповестила
об окончании игры
об окончательной ничьей
мы создаем из горстки слов
магический квадрат бессилья
мы продолжаем дробь грызть
и на скрещении лучей
и на скрещении прямых
навек, впрочем, параллельных
как ралли по чужой судьбе
какой-нибудь Париж–Дакар
я говорю, что я — не мы —
четвертый угол, повторенье
немыслимый сам по себе
тупой расклад счастливых карт
и возведение в квадрат
всегда кончается ошибкой
и остается на руках
заманчивый расклад каре
смешная суть банальных драм
всегда скрывается за ширмой
и достается дуракам
смешное счастье в сентябре

2
я не теряет правоты
в момент переливанья боли

я невыносимо в жару
и от истерик устает
я не имеет права ты
на ты назвать чего же боле
я к вам пишу сбываю с рук
любви старинный оборот

картинки тетею немы
в ее архиве нету данных
для выяснения причин
для объяснения, при чем
сюжет, что строили не мы:
любви старинные туманы
причал предчувствие прочти
тоску, задетую плечом

и снова отзовется тот
финал звериною тоскою
в котором аленький цветок
завял в распушенной руке
под новый день под новый год
в Господне лето очень скоро
какой заманчивый виток
судьбы в расплавленной строке

Уроки молчания

Ты повернешься к ожиданию спиной:
оно разбилось в золотой и синий лед.
Как больно порвано прозрачное панно
холодной воли — опьяняющий полет
за контур боли, за границы тишины
(как вырывается, колышется зрачок:
сухой камыш и небеса отражены,
а впрочем, вынуты и вовсе ни при чем).
Не надо зрячим быть, чтоб видеть этот след
в стекле — на небе — на подушке — на губах,
жить в оглушительном томительном тепле
сегодня, после, в заключенных гробах.
Твоей свободе дорасти бы до тебя
туда, где бродят под закатом табуны,
светло и слепо распусться дотемна
сухим бутонем на четыре стороны.
Они расходятся в молчании легко,
от звука голоса, от имени в бегах,
туман плывет за ними вслед, как молоко,
в еще неведомых кисельных берегах.
Смотри в глаза ему, но только не заплачь,
в глаза смотри ему, но только не смотри —
зияет пятнами наставленных заплат
истертый воздух, дорогой ультрамарин.
Считай на пальцах, не досчитывай до ста,
на самый кончик может точно не хватить.
И только смутная усталость на устах,
не научившихся молчанию в пути.

2

Голос мой ранен молчанием, не домолчать — никак.
 Может быть, будет лучше уступить и играть в слова,
 вылепить из отражений голос — голема — двойника,
 руки себе — царапать, руки голема — целовать.
 Смотрит тебе в глаза он — заглянуть и ему в глаза,
 слышать помимо пенья то, что помимо слов
 бьется на кончике жала — хочешь, можно сказать
 то, что острее жалости, выше голоса и голов.
 Сердце мое — из пыли. Соль на моем ноже.
 Хочешь привкуса боли в мясе моих приправ?
 Кто заклинал вернуться? Поздно мне. Я — уже.
 (Недосчиталась голоса и одного ребра.)
 Сладко тебе проигрывать, глиняный истукан.
 Вот же, возьми хоть тело, исцелованное в песок, —
 я-то сумею точно без такого-то пустяка
 в оцепененье словом, от молчанья на волосок.
 Хочешь придумать пытку мне лучшую, чем была?
 Лучше уже не будет, так что спокойно для
 прежний урок молчания: золото — тлен, зола,
 пеплом становится слово, податливейшая из глин.

3

Кто же будет заботиться о моем нетерпенье,
 кто не устанет взбалтывать сцеженный воздух с кровью,
 выгадывая, выпрашивая, лучше ли мне — теперь мне
 точно лучше заткнуться, кто еще будет, кроме
 тени моей, прислушиваться, есть горелые корки,
 подбирая за завтраком привкус черного завтра,
 привкус сожженной вечности, опаляюще-горький —
 слишком растроченной вечности, всласть натешившей за три
 месяца, вот и месяцем виснет вверху обреза
 от чего-то округлого, желтого, вроде дыни.
 Вот тебе сыпь словесная. Так становишься Крезом
 в самом сердце пустыни. Так понимаешь: ты не
 знаешь, о чем молчать тебе. Спрашиваешь, не сон ли
 три поседевших месяца, вышедших в воды сна и

скрывшихся в лес забвения. Так вырубашешь «only» —
 в автомобильном радио, что там потом — кто знает.

4

Покуда августа тишайшие авгуры
 нарочно медлят в толкованье знаков,
 устав описывать летящие фигуры
 в дождливом небе — буквы, восходы знаков,
 исходы полководческих компаний
 туда, на самый дальний север сердца...
 пока они все видят, как в тумане
 и сквозь туман, которым не согреться,
 давай запьем вином свою тревогу,
 как лето пряным и как осень терпким,
 и месяц нам посветит на дорогу,
 взойдя в тумане — мы пойдем и стерпим
 холодную отраву новой ночи,
 конец дождя, молчание любимых
 и не заметим, как горчит вино. Чем
 договорить? Устали и слабы мы.
 А будущее — как просвет в печали,
 невыносимый росчерк черной стаи,
 и непонятно сердцу, чем отчалить
 и что оставить дому, улетаю.

5

... а хор уже замолчал.
 (Ася Анистратенко)

Сегодня я вышла из дома и долго куда-то шла.
 Мне снилась дорога к дому, но дом почему-то — нет.
 Я снова переходила в пространство из рельс и шпал
 и снова читала граффити, оставленные на стене.
 Должно быть, в округе август дрожит на листве росой,
 нарвешь черноплодной рябины — наполнит и свяжет речь.
 Должно быть, я здесь бежала — по следу дождя — босой.
 Но можно ли этот воздух кому-нибудь в дар сберечь?

(Чтоб срез этой солнечной сини смородиновым листом
остался на кромке неба, как луч в прохладной воде?..)
Но я возвращалась к дому, не ведая, где мой дом,
и ты где — тоже не зная (какая разница, где).
Я шла, никого не видя, выпрашивая наизусть
погасшего сходства облик — оно начало мельчать,
но было, пока что было: меч солнца, рассекший куст.
Осталось стоять в закате и долго-долго молчать.

* * *

И глухих делает слышащими,
и немых — говорящими.

Мк. 7, 37

Осенний дождь запутал сеткой крышу,
упрятал, как большую рыбу, в невод.
Я вслушиваюсь — я Тебя не слышу.
Я вижу дождь, и я не вижу неба.
Как струи по лицу бы мне стекали,
когда бы я смогла и захотела.
Так пахнут розы и так жаждут камни
коснуться человеческого тела.
Но их покой нетронут: выйдешь в сад ли,
решетчатое ли окно откроешь —
лежат в тепле, а между ними — сабли
осоки или маки — пятна крови,
следы ступней. Глухой порог Аида.
Как бусинки, редуют между пальцев
сомнения, восторги и обиды,
слова надежды и слова, в запале
не сказанные — видимо, поболе
им нужно мужества, чтоб верить слепо
и безбоязненно нести в подоле
хлеб вместо роз и розы вместо хлеба.
В руке затихли четки — слишком чутко
прислушались к молчанью сердца травы.
Я не должна надеяться на чудо,
я не умею — не имею права.
Но если вдруг раздастся стук за дверью
сейчас или в другое время суток,
я все открою, все Тебе поверю,
не только дверь — молчание и сумрак.
Пожалуйста, скажи, что не меня Ты
зовешь к себе под мерный подступ ливня,
что Ты позволишь правду, не меняя
в ней ничего, столь хрупкой и счастливой,

в благословенных снах меня поднимешь,
на спящих веках выткешь мне спасенье —
надежду, зацветающее имя,
которого не смыть дождям осенним.

Возвращение в сюжет

Мое сердце болит в самом центре чужого сюжета —
обмануть бы его и ходить по сюжету кругами.
Поражение мое неминуемо входит суженьем,
и не я виновата, а я же, но только другая.
Камни брошены в воду и тонут, и зѐ сердце тянут,
а на сердце грохочет беда — никуда от нее мне не деться.
Это просто... да нет, это просто туманный сентябрь
и дурное, больное, но бьющее в голову детство!
Это детство все ищет мне повод и повод находит,
уведя в тишину по холодным проводкам мелодий,
разбудив тишину, но сказать — почему-то не хочет,
а всего лишь болит и в разбитые ребра колотит.
Посмотри, оглянись: солоней и еще уязвимей,
точно это лишь мячик сорвался и ухнул в колодец,
точно это волна на песке оставляет извивы,
а не мутная взвесь в оступевшее сердце колотит.
Заглушай ее словом — пытливым, навязчивым, теплым,
прилипающим к треснувшей, выжженной глине гортани.
Ничего. Это проще, чем резать ладони о стекла,
отправляя героя в чужой хронотоп испытаний.

* * *

Можно сказать, если очень нужно сказать,
только назвать — нельзя тем, кто о тайне вспомнил.
Я долго-долго смотрела б тебе в глаза,
слов не умея. Ты бы и так все понял.
Только и это — мне недоступный клад,
и остается то же: имитация речи.
Я рассказала б, если б только смогла,
но ни к чему — сон колокольный резче,
воздух продрог к утру, день струится в луче
наспех натянутой нитью за рукавом и шторой.
Так что, пытаюсь петь, я замолкаю — чем?
И продолжаю тщетным «хотя бы что-то».
Сколько бы ни вилось в воздухе цепких стрел,
я согласна на все, стать послушной мишенью.
Кажется, все равно трепетней и острее
имя твое во мне, постоянно и совершенно.
Я пропускаю день на острие луча,
зренье стирая в дым и в ликование — гордость.
Как же теперь понять, говорить мне или молчать,
чем-то питать слова или расправить голос?
Я повторяюсь, да? Я повторяю «да».
Все, что придет потом, будет, пожалуй, звонче:
точность ненужных слов, точечный ли удар,
то, чем продлишь мотив, опознавая, — вот чем.

* * *

Там, где есть ты, сходится горизонт
в синем разрыве облака: след, печать
летнего бега — за радугой, за грозой,
тем, чем к исходу дня зазвенит печаль —
алой каемкой облака, золотой
нитью по стуже рваной седой воды.
Как невесомо и празднично стало то,
что обращалось каждую осень в дым,
пеплом входило в легкие, на ветру
было развеяно — спешно и далеко.
Чем оно стало — послушным гореньем струн,
голосом правды, растущим во мне легко
и неизбежно. Так опалило весть,
точно сухую ветку, и так — горит
долго и празднично, как купина: ты есть.
Где-то есть «где-то»: в ту сторону от зари,
дальше, за узкой кромкой холодных вод,
нитью задержавшей зренье, как ни смотри...
Веришь? поймешь? ты здесь, где сомкнулся свод
ребер сердечных над тем, что поет внутри
птицею в клетке. Не выпустить, не взлететь —
так и поет в неведение немоты,
тон подбирает — навстречу... И есть ли те,
кто бы расслышал лучше, чем слышишь ты?

Карта предзимья

1

Холод предзимья раскрылся на рубеже:
 здесь, на сыром рубце неведенья и недель
 на развороте листа
 на имени
 на «уже» —
 солнцем в проломе листвы
 мыслями
 что надеть
 в стужу — спелое солнце тщетно сулит октябрь,
 ворох кленовых звезд в смальтовой синеве...
 выйти из дома
 прийти до реки хотя б
 вслушиваться в шуршащий
 над головой
 навес
 неба, листвы и воли
 (боли? как странно — знать)
 боль. лимонад бессилья:
 кольнет, ущипнет и стих —
 нет ее. только холод
 бесконечная голубизна
 голуби под мостом
 а над мостом —
 мосты
 радуги.

2

Холод пахнет теплом:
 корицею и анисом.

белой бумагой.
 ладонями сквозняка.

звездной картой зимы раскинуло строчки писем.

только-только издалека начинавшее возникать
 расстелилось слепой поземкой
 растворилось в ничьем тумане
 в блеклом воздухе
 как осадок
 как остаток сонного дня

тот же нежный молочный путь
 как тропинка
 ведет вглубь сада
 над белесой пустыней
 к рунам
 заплетенных веток подняв:
 удержи на длящемся взгляд
 научись читать эти знаки
 по ладоням слепого мира
 загляни в слепые глаза

это север твоей зимы
 это ворох белой бумаги:
 никогда
 еще не было
 сказано

невозможно
 уже
 сказать

согревая дыханием голос
 точно губы — остывшим чаем
 точно лето — глотком из Леты
 горьковатой талой судьбой
 откликайся на этой мир

не мелодией —
так молчаньем.
на невидимой башни профиль,
на часов неслышимый бой.

3

Так вязнет кровь невидимых чернил
в прямоугольных небесах печали.
и тот, кто карту неба начертил
и карту мира, распознал вначале,
что им дано друг друга отражать —
двум зеркалам, наставленным без цели,
двум сумракам, двум странным витражам:
обложка, а внутри ее бестселлер.
Внутри ее запутаннейший ход
сюжета, а снаружи странный хохот.
Внутри кукушка дивная живет —
кукует, а часы давно не ходят.
Она тоскует, сидя на суку, —
предсказывать молчанием искусства.
Внизу сидит ликующий суккуб,
запутавшись вконец в корнях искусства.
И распрявленный ожиданьем ствол
в ушко иглы вошел крепчайшей нитью,
стежок к стежку: так крепнет вещество,
сшиваются листы, слова, события,
дробится сумрак, узелками сон
ложится на подушку спящей жизни.
И крутится тупое колесо
в поломанном и мертвом механизме.

4

Спишь
выходишь из дома
что-то ищешь в листе
слышишь зимнюю музыку

торжественную, как звон
колокольного утра:
задержавшийся колкий свет
так колотится
то ли в сердце
то ли в висках —
листвой
нежно-лимонно-октябрьской...
ссохшийся календарь
перекинут на «что же будет»
на застывший в инее лист
на холодной земле,
молчащий
под пугливую коркой льда
ничего
мосты или своды
ожидания поднялись
сквозь кленовое небо — выше.
горький, клейкий его раствор
на кленовый сироп похожий
пахнет сладостью
«вот уже»
колыхнувшейся аркой света
озарившей — на миг — родство
золотых куполов предзимья
и растерянных миражей
радости.

ИЗ ЦИКЛА «ПИСЬМА В НИКУДА»

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts.
Paul Celan

* * *

Ночью
поет от любви и молчит от боли
в окнах: если ты. если.
и в голос: е с л и —
можно молчать-говорить-голосить, любое,
что-то писать на стекле, застывать на месте
сон ледяной
золотые стылые рыбы
каменный замок
башня стеклянной крови
в зелени ила и льда, островерхой глыбы:
пустит в себя, замкнет в себе и укроет,
спрячет в горсти
детские прятки в водах
сна, тишины, немоты
(отпусти, не выдай)
кажется, выпадет снегом сгущенный воздух
кажется, сердце скользнет всемогущей выдрой
пуд воду
в стужу
падай, лети и падай,
пылью светись в луче,
золотистой пылью
(былью и болью — и больше никак)
разгадан
мир, где мы были и есть.
где мы есть и были.

* * *

Так, наверно, желая спастись и желая слышать,
в никуда вопрошал Одиссей, привязанный к мачте,
только сладкий голос все дальше был, а не ближе,
потому что путь не кончен, а только начат;
так, наверно, здесь, на периферии мира
занимался в тумане утра костер Дидоны,
проводя в сторону центра, разлуки, Рима,
отдавая сердце морю — оно бездонно
и поглотит все, что отдашь ему или скажешь
(оттого-то молчанье предпочтительней рек и речи):
говоря «как же жить без тебя», ты проглотить «как же»,
остальное — бессловно, и больше проститься нечем,
разве только дымом костров и своей неволей;
так пыталась петь безъязыкая Филомела,
так чужое сердце, наверно, рвалось от боли,
застывало, плакало, помнило, каменело.

* * *

На ладонь падают,
тихие, колючие —
звезды или снежинки?
загадывать ли желание?
Девочка со спичками, я играю в иллюзии,
прикасаюсь к несбыточному в самом дальнем чулане
памяти, сна, фантазии,
боли, воображения.
Я захожу в кафе, чтоб хоть чуть-чуть погреться.
Мне снилось, я здесь пила
с тобой напиток Бранжены.
Мы заказали пирожное,
на блюде подали — сердце.
Тмин, кардамон, корица,
пряная тяжесть запахов,
в горле от них — сласще,
но дайте хоть хлеба корочку!
Мне говорят: завтра
солнце взойдет с запада.
Я киваю: я слышала.
Выйти. Присесть на корточки
возле, смотреть в витрину,
в гадательный мир стеклянный,
волшебный и недоступный,
нездешним светом подсвеченный —
еще одна чудо—иллюзия,
доступная только взгляду:
поднимешь глаза — все спрячется
под синий колокол вечера.
И снова иду по улицам,
мне снег — на лицо и на руки,
предпраздничный свет надежды —

лишь эхо сонного города.
С базара несут гусей,
на кухнях пекут яблоки,
с лотков продают печенье,
а мне — умирать от голода.

* * *

В оглушающем шуме твоих и моих потерь,
в пустоте, рассекающей пулей сцепленья рук,
мы отыщем надежду, защиту, слепой патент
хоть на то, чтобы быть, хоть на то, чтобы все вокруг
видеть в цвете новой застлавшей глаза зимы, —
так в провале зренья стало белым-бело, —
опускаем век удержать белизну, за миг
в темноте позабыв о будущем, о былом.
И началом странствия называется новый день,
и тропа не видна, по которой ведет судьба.
Застывает льдом гадание по воде.
Застывает сном гадание по губам.
Никогда не вспомнить, что мы могли сказать
и уже не сказали. Что же, хотя бы знай:
я иду за тобой. Нет, не смотри назад:
оглянешься — стукнется вечная белизна.

* * *

Ангел-сомнамбула бродит в выси,
звездный стеклярус с небес крошит.
Скальды слагают на землю висы,
словно промерзшие меч и щит.
Звездным рисунком разметив кровли,
окна засыпав сухим песком,
холод стучится к нам в дверцы крови,
в дыры дыханья входит ползком.
Дерево жизни и дерево смерти,
тайно сплетаясь, растут внутри
белым узлом моего предсердья —
там, где ни звезды, ни фонари,
там, где застынет любое зелье:
словно расколото молотком,
сквозь тишину прозвенит на землю
утра черное молоко.

* * *

Вот мое имя, всегда и всюду:
я — Стоң, я — Ветер, я — Зимняя Ночь...
Из ирландского сказания

Двенадцать месяцев, двенадцать декаблей —
наш краткий разделительный союз.
Какой из них казался всех добрей?
Которого я до сих пор боюсь?
Я выучила звездный их язык
(и Аргусовы страшные глаза),
непоправимой музыки азы,
в которой ничего сберечь нельзя,
в которой остаются только вой
свирепой вьюги, резкий ветер, стон
и крик, и на пороге — никого,
и бесполезно говорить «постой...»
Я именем до имени была —
холодный ряд сверкающих имен.
И вьюга стерла память добела,
в который раз закрылось на ремонт
(а может быть, всего лишь на обед)
отчаянье, условный вход в игру.
Я перестала видеть смерть в себе
и тысяче случайностей вокруг,
я научилась, как мне жить и без,
как выбирать под шею свой хомут —
я перестала их писать тебе,
а значит, я пишу их никому
и в никуда, и можно догонять,
ступив на землю, век в своей стране,
а можно просто повернуть коня
и жить в благословенной тишине.

Декабрьская элегия

Эта смесь декабря с ноябрем, эта окись простуды
на гортани предместья, дрожащем его языке —
воспаленном, мучительно-грудном, невнятном отсюда,
где мы учим обрывками слов, где мы их повторяем — за кем?
Вот и снова — изгибы, извивы сонных улиц, бегущих от центра
холодов, ожидания, прощаний, неуместных и горестных слов
на чужом языке, с горьковатым оттенком акцента —
второпях: досказать бы, успеть, а потом уже выправишь слог.
И не знаешь, куда и зачем, и каплей сменяется минус
за окном, сердцевина печали зацветает дождем к Рождеству,
и мнут минуты, пока молчаливый властительный Минос
размышляет, пускать ли в Аид отлетающий тоненький звук.

Tombe la neige

Tombe la neige — о том, как мучительна нежность, как тишина голосами любви не согрета — кончилось чудо. А дальше — над нами и между — время качается в люльке счастливой приметой. Над безголосьем, затишьем, косым снегопадом щедрое сердце чужое тебя не простило: ты не умеешь, не можешь — не можешь быть рядом, ты отдаешь в тишину свои явь и бессилье. Ты отдала бы и то, чего век не имела: светлые сны, что цветочной пылью на веках не замерзают, ложатся крошащимся мелом, стертым мотивом, кружащимся солнечным снегом.

Имена Психеи

Пока мы не научились говорить, почему они должны слушать наш бессмысленный лепет? Как они могут встретиться с нами лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?

К. С. Льюис. «Пока мы лиц не обрели»

Это ангел поет над тобой, Мария.
 Это ангел парит и в тебе поет,
 разбиваясь дорогой — сквозь-дрему-к-Риму —
 о высокий берег, звенящий лед.
 Не коснувшись ладони, не тронув тени,
 за спиной заклатья лопоча,
 прижимается к детским губам Потери,
 как к замку в двери — кораблем ключа.
 Перед ним, за стенкой родного Понта
 начинается слава, цветут слова.
 Тяжелеет в смуглых руках от пота
 и стыда ослиная голова.
 Это кто-то врет о тебе, Елена,
 ведь за облаком облик не разглядеть.
 Милый! Стыдно и горько склонять колена,
 шелушить зерно для чужих людей.
 Сохраняя очаг, сбереги от дыма —
 как он щиплет, заполнивший все внутри!
 Вспоминая лицо, обретаю имя —
 ты уже не скажешь мне: не смотри.
 Я пойду искать тебя — мимо-мимо
 колосющихся златом руна полей,
 собирая в ладони знаменья мира.
 Что там шепчет распахнутый Апулей?
 Это ночь, уже летящая к югу,
 отсылает на север свои стада,
 это бродит анима тенью Юнга
 за холмом Венериным — навсегда.
 Это речь — остатки холодной влаги.
 Удержать бы — в мутном твоём стекле,
 на губах, на бледном лице бумаги:

вместо имени раной сочится след.
 Или тень орлиная горизонта
 так страшна в попытке меня спасти?
 Но мой хлеб зачерствел, мой наряд разодран,
 а лицо стало маской в твоей горсти.
 Как мне больно, любимый, — разрушен терем,
 вместо ложа отчаянья склеп готов.
 Чередую молчаний моим потерям
 отвечаю на самый горчайший зов,
 уповая выстоять — для чего же?
 Через край прольется — и нет конца:
 в темноте касаться тебя всей кожей,
 никогда не знать твоего лица,
 за щекою прятать, как ключ от жизни,
 как монету — имя. И снова в путь.
 Каждым шагом в Аид умолять: скажи мне
 (умолкая в надежде) хоть что-нибудь.
 Только б сердце ее не спугнуло: то ведь
 безголосая флейта невечных уст.
 То ли ангел ведет и меня, и Товия,
 то ль мотив, затверженный наизусть.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Андрей Дитцель. Уроки молчания Екатерины Келлер</i>	5
Конец цитаты	8
W (Хиромантия)	9
«Эти игры в касания, скупые попытки списания...»	10
«Так меняется бабочка, прорастая в теплое, черное...»	11
Механика расставаний	12
Письма из детства	13
Карандашный набросок	14
ХОРВАТСКИЙ ФОТОАЛЬБОМ	
1. Пула	15
2. Еще один фотоснимок	16
3. Отпускное	17
<i>un peu du soleil</i>	18
«два плюс два все равно останется два»	19
Сестрам	21
«Умирать от нехватки слов мне случалось часто...»	22
Ностальгия по дереву	23
Вспоминая Барбару	24
Пляжный сезон	27
«Ласточка в храм залетела а вылететь — кажется мелкой...»	29
Равенна. Отлив	30
Сентябрьская зарисовка	35
В осеннем кафе	36
«Я, любимый, пишу элегии. Про золотую осень ли...»	37
«Под занавес осени и с неновыми новостями...»	38
В ожидании снега	39
Музыка	40
«Одиночество. Ожиданье. Окно. Ответь мне...»	42
«В телефоне закончится речь, и проститься окажется нечем...»	43

Под деревом познания	44
Предновогодье	45
Моему Щелкунчику	47
Построждественское	48
Тысяча ночей	49
Имитация голоса	51
Снег	52
Любовь к географии	53
После радости	54
Имя	55
«Одиночество выбирают, как гладкий плод на прилавке...»	56
Март (из цикла «Мартовское интермеццо»)	57
«Я тоже люблю хлопать дверью, но... совсем неслышно...»	58
Город	60
рев-ну-я (фантазия на тему)	61
Тайна	63
Ночь в Арлиано	64
страшно	66
Вместо письма	67
Речные маршруты	68
Хозяйка стеклянных зверушек	71
«Радость моя, мучительнейшая из...»	72
Сон с продолжением	73
«Неумелым ситечком сердца мне не выловить ничего...»	74
Строфы наоборот	75
«Все, что пытаюсь и не могу сказать...»	77
Красная нить на белом	78
возведение в квадрат	79
Уроки молчания	81
«Осенний дождь запутал сеткой крышу...»	85
Возвращение в сюжет	87
«Можно сказать, если очень нужно сказать...»	88
«Там, где есть ты, сходится горизонт...»	89
Карта предзимья	90

ИЗ ЦИКЛА «ПИСЬМА В НИКУДА»

«Ночью...»	94
«Так, наверное, желая спастись и желая слышать...»	95
«На ладонь падают...»	96
«В оглушающем шуме твоих и моих потерь...»	98
«Ангел-сомнамбула бродит в выси...»	99
«Двенадцать месяцев, двенадцать декаблей...»	100
Декабрьская элегия	101
Tombe la neige	102
Имена Психеи	103

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

проект О·Г·И·
книжный центр·галерея·клуб

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

И. МАШИНСКАЯ
«*Путнику снится*»

*

Л. ЧЕРТКОВ
«*Стихотворения*»

*

К. РУБАХИН
«*Книга пассажира*»

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

проект О·Г·И·
книжный центр·галерея·клуб

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Г. КОРИН
«*Муза и автопортрет*»

*

И. ЛИСНЯНСКАЯ
«*Иерусалимская тетрадь*»

*

С. ЛЬВОВСКИЙ
«*Стихи о родине*»

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

проект О·Г·И·
книжный центр·галерея·клуб

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

М. Гейде

«**В**ремя опыления вещей»

*

П. Настин

«**Я**зык жестов»

*

Е. Риц

«**В**озвращаясь к легкости»

*

К. Бандуровский

«**Д**иптих»

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

проект О·Г·И·
книжный центр·галерея·клуб

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

О. Шатыбелко

«**В**оот»

*

Е. Боярских

«**Д**agaz»

*

Ю. Тишковская

«**Д**альше зрения»

Литературно-художественное издание

Келлер Екатерина Иосифовна Уроки молчания

Идея серии: Д. Борисов, Н. Охотин

Ответственный редактор Е. Савина

Ведущий редактор О. Старикова

Макет серии: С. Митурич

Обложка: М. Авцин

Компьютерная верстка: А. Иванов



Объединенное гуманитарное издательство

103051, Москва, ул. Петровка, 26, стр. 8

Факс: (095) 924-5761, тел.: (095) 744-3170

e-mail: info@ogi.ru

Книги издательства ОГИ можно приобрести:

м. «Чистые пруды», Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5, кафе «Билингва»;

м. «Чистые пруды», Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, клуб «Проект О.Г.И.»;

Кафе «Пирог»: м. «Площадь Революции»/«Лубянка», ул. Никольская, д. 19/21;

м. «Охотный ряд»/«Театральная», ул. Большая Дмитровка, д. 12/1, стр. 1;

м. «Перово», Зеленый просп., д. 5/12

Заказать книги ОГИ можно: тел. (095) 744-3171, e-mail: info@ogi.ru

Оптовые продажи: тел. (095) 744-3171, e-mail: info@ogi.ru

За пределами России наши книги можно купить: www.esterum.com

Подписано в печать 31.03.2005. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура OfficinaSerif.

Объем 3,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 1000 экз.

Заказ №